

Российский государственный гуманитарный университет
Институт высших гуманитарных исследований
им. Е.М. Мелетинского

Г.С. Кнабе

**Современная Европа
и ее
антично-римское наследие**

Москва 2010

УДК 008.001
ББК 63.3(4)64-7
К 53

Кнабе Г.С.
К 53 Современная Европа и ее антично-римское наследие. М.:
РГГУ, 2010. 175 с. (Чтения по истории и теории культуры.
Вып. 58)
ISBN 978-5-7281-1132-0

Эта книга – очерк истории цивилизации Западной Европы с распада империи Рима и до наших дней. Автор показывает, что в течение этого полуторатысячелетия западноевропейская цивилизация сохраняла коренные константы античного Рима. Константа констант, или, иначе говоря, самая суть европейской культуры – способность сочетать верность собственным началам, с одной стороны, и изменение, развитие, с другой.

Книга предназначена для широкого круга читателей.

ISBN 978-5-7281-1132-0

© Г.С. Кнабе, 2010
© Российский государственный
гуманитарный университет, 2010

ОГЛАВЛЕНИЕ

<i>Часть первая</i>	
Римская Европа	5
Римские пейзажи европейской культуры.....	7
Воображение знака и образ эпохи	13
Образ Древнего Рима и его слагаемые в римской культуре и истории.....	23
Консерватизм	23
Экспансия	26
Микрогруппы	29
Similitudo temporum и римская Европа	41
Средние века. Государственность и христианство	41
Эпоха классицизма. Политика и искусство	45
Политика	47
Искусство	55
XIX и XX века. Призрак бродит по Европе.....	63
Итог: Римские константы в культурном развитии Европы	89
Канон	89
Экспансия	94
Индивидуализм	97

Часть вторая
Рубеж XX и XXI веков.
Исчерпание и преобразование
антично-римского слагаемого
европейской культуры..... 101

 Воздух времени 101

 Канон..... 107

 Наука. Литература. Кино 112

Часть третья
Исторические выводы и
жизненная реальность 130

 Внутренние макроформы культурного развития 130

 Культурные заимствования
 и историческая память..... 143

 Из письма приятельницы,
 жительствующей в Мюнхене 156

 Единство как изоморфность..... 160

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Римская Европа

Конечный вывод из предлагаемого исследования состоит в следующем. На территории Западной Европы размещение этнических групп, а впоследствии – и государств, их лингвистическая группировка, способы организации населения, формы духовного самовыражения и традиции сложились изначально под сильным воздействием Римской империи и на ее территории. Следы этого воздействия образуют магистральную характеристику культуры Западной Европы как культурно-исторического целого вплоть до середины XX века. С этого момента, в ходе заключительных десятилетий XX столетия, наступают коренные перемены, повлекшие за собой отказ от дотоле устойчивых, унаследованных от Рима слагаемых государственности и культуры. Отказ этот предполагает завершение бытия Европы как культурно-исторического целого, каким оно было нам дано на протяжении последних полутора тысяч лет.

Эти выводы могут вызвать обоснованные возражения, уточнение и разъяснение которых делает настоящее вступительное замечание необходимым.

Для научно объективного анализа древнеримский исток и след в западноевропейской культуре и истории, бесспорно, существует; но столь же бесспорно, что сосуществует он там с иными слагаемыми – экономическими, социальными, военно-политическими, идеологическими, художественными и пр. Складывается впечатление, что именно в них, в *этих внеримских* слагаемых, надо видеть более непосредственные, а потому и более реальные характеристики культурно-исторического процесса – римски, может быть, и окрашенного, но римским началом, скорее всего, не определяемого. Polemica с таким

«редуцирующим» подходом к культурно-историческому бытию римской Европы возможна, но сегодня не в такой полемике главная суть дела. – «Суть дела в том, чтобы найти истину, которая была бы истинной *для меня*», – записал в дневнике Серен Кьеркегор и подчеркнул последние два слова¹.

Ни непосредственный, ни самый общий контекст этой фразы не позволяют понять ее таким образом, что автор хотел бы иметь дело с истиной, которая была бы истиной для него, но не была бы истиной ни для кого другого. Имеется в виду, что любая истина становится истиной *для меня*, становится *моей* истиной, лишь будучи мной *пережита*. Такое «Я» при этом отнюдь не обязательно должно быть одним человеком, только данной, единственно конкретной личностью. Общность, интенсивность и целенаправленность переживания делает подобной «истиной для меня» и истину, заложенную и раскрывшуюся в коллективном опыте единомыслящих и единочувствующих, группы, эпохи; делает *истинной* именно такую, именно в *этом* допустимо коллективном смысле индивидуализованно актуальную истину. Европейская культура содержит в себе ряд ценностей всемирно-исторического значения. Длинной череде поколений на Западе и в России выпало на долю не только осознать эти ценности как ценности, но и ощутить, и пережить, как связаны некоторые из них с культурно-историческим опытом Рима и с его сохранившимся в традиции образом. Как бы ни был многообразен и противоречив культурно-исторический опыт, легший в основу европейской культуры, в том, что именно она, она как целое, органически несущее в себе римское наследие, образует часть нашего векового культурного горизонта, есть не только бесспорная, но и внятная, а значит, и пережитая истина. Пока она полторы тысячи лет живет в культурном подсознании (а кое-где и время от времени также и в актуальном сознании) стран и народов Европы, а мы есть мы, наметившийся и совершившийся перелом не может не быть частью переживаемой нами реальности. Анализ такого перелома становится актуальнейшей научной задачей, а поиск ее решения – поиском «истины для меня». Истины для каждого из нас. Сегодня.

¹ Kierkegaard Søren. Papierer. Bd. I. København, 1975. S. 21.

Римские пейзажи европейской культуры

Обильные материальные следы римской цивилизации, сохранившиеся на территории Западной Европы, создают ощущение принадлежности к непрерывно длящейся здесь истории, знаменательно начавшейся в Древнем Риме. К числу таких следов относятся *дороги*, в ряде случаев вместе с римскими мильными камнями, сохранившиеся и используемые до сих пор. К ним относятся развалины *театров и амфитеатров*, от самых грандиозных, вроде римского Колизея (по одним подсчетам на 50, а по другим – на 80 тысяч зрителей), до самых миниатюрных, как малая арена в Париже или в Вэзон-ля-Ромэн. Не менее распространены *акведуки римских водопроводов*, и ныне возвышающиеся в итальянской Кампании, в испанской Сеговии, в Передней Азии, а в особенно впечатляющем виде – так называемый Пон-дю-Гар в Южной Франции. Сюда же должны быть причислены *термы* (римские бани) – на территории Римской империи их и сегодня обнаруживается более 300. Сюда же относятся *триумфальные арки*, стоящие во многих городах римского мира и недавно исчерпывающим образом исследованные².

Беглая прогулка по европейским странам поможет облечь только что сказанное в реальный пейзаж и зримый камень. Начнем с севера, где на границе Шотландии и собственно Англии без малого две тысячи лет возвышается Адрианов вал – оборонительная стена, названная так по имени Адриана – римского императора 117–138 годов. Дальше расстилается английская равнина, на которой множество городов носят имена, кончающиеся суффиксом «честер»: Манчестер, Кольчестер, Чичестер, Рочестер, Винчестер и другие. Суффикс этот, как известно, представляет собой видоизмененное латинское слово *castra* – «воинский лагерь» и прибавлялся к местному названию населенного пункта, возле которого в то или иное время располагался лагерь одного или нескольких римских легионов. Возле города Чичестер участок стены такого лагеря сохранился до наших дней. Лондон не содержал в своем наименовании подобного элемента, но именно там обнаруживается еще одно яркое свидетельство римского присут-

² См.: Поплавский В.С. Культура триумфа и триумфальные арки Древнего Рима. М.: Наука; Слава, 2000.

ствия. В 60-е годы I века н. э. там находилась резиденция римского прокуратора Юлия Классичиана, чья эпитафия была открыта английскими археологами в два приема, в 1852 и 1935 годах³.

Теперь пересечем пролив, слегка забирая влево, войдем в устье Рейна и двинемся по его основному руслу через земли римских провинций Белгики и Нижней Германии. На расстоянии 150 километров мы минуем 13 современных немецких городов: пять выросли из римских воинских лагерей (среди них Бонн), два – из колоний римских граждан (среди которых Кёльн), шесть – из пограничных крепостей. Кёльн упомянут здесь неслучайно. «Центр современного Кёльна стоит на фундаментах древнего римского города. Сегодняшние улицы следуют римской уличной сети. Стены многих современных домов в кёльнском сити содержат включенные элементы римских сооружений»⁴.

Поднимемся еще выше по Рейну. Миновав римский Могунтиак, нынешний немецкий Майнц, и оставив в стороне нынешний Трир, а некогда – римскую Августу Тревирорум, остановимся в тех местах, где в отдалении открываются на восток земли по Дунаю, на юг – римские провинции, частично совпадающие с территорией Швейцарии (римской Гельвеции), а на запад и юго-запад – Франции, начиная с Лиона (римского Лугдунума). Зайдем в любой из бесчисленных местных музеев, где хранятся тут же обнаруженные римские вещи, римское оружие и особенно для нас в данном контексте важные римские надписи. Демобилизованные ветераны ставят их в память своих умерших товарищей; ставят для ознаменования поселений вроде римского Авентикума (нынешнего швейцарского Аванша), состоявших сначала только из римских граждан, а позже и таких, где *conventus civium Romanorum* (официальное собрание римских граждан) растворяется в неримском населении. Уже не ветераны, а римские наместники по приказу императора ставят надписи, вроде знаменитой «Лионской таблицы». В ней воспроизведен текст речи, произнесенной в сенате

³ *Cottrill F.* A Bastion of the Town Wall of London and the Sepulchral Monument of the Procurator Julius Classicianus // *The Antiquaries Journal*. 1936. Vol. XVI, No 1, January. P. 1–7.

⁴ *Landschaftsverband Rheinland.* Archäologischer Park Xanten. Köln, 1985. См там же краткую справку: *Die Römer am Rhein*. S 3.

императором Клавдием⁵ для утверждения и прославления политики втягивания местных племен и народов в римскую государственность, в римское право и римскую культуру, т. е. утверждения того единства, из которого выросла единая Европа. Жизнь, и в этих краях, и за их пределами, давала для этого обильный материал. В этих краях – Форум Юлия (Фрэжюс), Арелате (Арль), Немаус (Ним), Вазион (Вэзон-ля-Ромэн), Вьенна (Вьенн), Аугуста Раурика (Огст). За их пределами – около 800 римских городов, сохранившихся в Италии, около 40 римских городов к югу от Дуная, многочисленные города – очаги римской культуры в Тарраконской Испании и в испанской Бэтике, испанские Помпеи – Италика, а за пределами этих пределов – легионный лагерь в Дании, трофей императора Траяна в Румынии, так называемые Афины Адриана в Греции. И почти в каждом – театры и амфитеатры, храмы и форумы, бани.

Немецкие экскурсоводы правы: Европа стоит на фундаментах древних римских городов. Но римский город – больше чем город. Именно так понимали свой полис греки и свою гражданскую общину, цивитас, римляне. Отзывы их сохранились. «Город – это не стены и не корабли; город – это люди»⁶. «Если мы рассмотрим, как зарождается полис, то увидим там ростки справедливости, или несправедливости»⁷. «Понятие справедливости связано с представлением о государстве, так как право, служащее мерилom справедливости, является образцом и нормой общения граждан в полисе»⁸. «Полис есть совокупность семей, земли, имуществ, способная сама обеспечить себе благую жизнь»⁹. Римская традиция продолжает традицию греческую: город – не город, а Город. В нем граждан охраняют «законы и стены», «дома и право», «пенаты и святыни»¹⁰. «Верность и Мир,

⁵ Corpus Inscriptiones Latinarum (Корпус латинских надписей) XIII, 1668 = Dessau. Inscriptiones Latinae Selectae (Дессау. Избранные латинские надписи) 212. Перевод – Литературная обработка: Тацит. Анналы XI, 24. Один из лучших разборов: *Vittinghoff Fr. Zur Rede des Kaisers Claudius über die Aufnahme von Galliern in den römischen Senat // Hermes. 1954. Bd. 82. Hf. 3.*

⁶ Фукидид. История VII 77, 7.

⁷ Платон. Государство 368e – 369a.

⁸ Аристотель. Политика A, 1253, 10.

⁹ Псевдо-аристотелева «Экономика» I 1.2 1343a.

¹⁰ Вергилий. Энеида I 264; II 137, 293.

Честь и Доблесть, Стыдливость старинная»¹¹. «Уничтожение, распад и смерть гражданской общины как бы подобны упадку и гибели мироздания»¹². «Особенно тесные узы соединяют членов одной гражданской общины. Ведь у сограждан есть столько общего: форум, храмы, портики, улицы, законы, права, правосудие, голосование. Кроме того, общение друг с другом и дружеские связи, а у многих и деловые отношения, установившиеся со столь многими людьми»¹³.

Соответственно бесчисленные римские города, покрывающие территорию Западной Европы, не исчерпываются своей археологической характеристикой. Они сливаются в единую муниципальную цивилизацию, каковой предстает перед нами Римская империя. Из этой цивилизации растет культура, обнаружение городского характера которой было в XX веке едва ли не главным достижением науки об античности, продолжающим исследования предшествующего столетия. Ограничимся двумя ее итоговыми выводами. «Любой человек, вознамерившийся узнать Римскую империю, должен задуматься в целом над пониманием древними их города-государства и, в частности, перечитать знаменитую книгу Фюстеля де Куланж «Античный город-государство»¹⁴. Большинство данных, которые он там найдет, просты и даже очевидны, но они совершенно необходимы для понимания того, что реально представляла собой жизнь в античности <...>. Город не только место, где люди сошлись и сплотились ради безопасности или ведения дел, и не только окружной центр. С городом, там, где он достиг своего полного развития, рождается нечто ранее неизвестное – человек как единичное сознание, человек как единица социального и политического бытия, – место, где человек дан именно как такого рода единичное существо. Город – нечто большее, чем место, где вы проживаете и делаете деньги; это место, где вы дышите *политически*»¹⁵.

¹¹ Гораций. Вековая песнь 57–58.

¹² Цицерон. О государстве III 34.

¹³ Цицерон. Об обязанностях I (XVII) 53.

¹⁴ Имеется в виду исследование: Fustel de Coulanges. La cité antique. Первое издание – 1864 (первый русский перевод – 1867). 21-е издание – Paris, 1910.

¹⁵ Mattingly Harold. Roman Imperial Civilisation. London, 1957 (reprint 1967). P. 81. Два слова в английском оригинале этого текста – «city» и «ро-

Политический (в означенном смысле слова) характер античного города и его обращенность в европейское будущее подчеркнуты и в отзыве другого авторитетного антиковеда XX века – русского исследователя Сергея Львовича Утченко¹⁶. «Полис – первая в истории человечества гражданская община. В этом и именно в этом его специфика. Потому-то, хотя чрезвычайно важна, своеобразна, интересна его экономическая основа, тем непреходящим историческим наследством, которое полис завещал грядущим поколениям, следует считать не эту материальную основу, поскольку она не пережила самого полиса и отошла в прошлое вместе с ним, но то, что резко выделило его из всех предшествующих форм человеческого общежития и оказало – да и продолжает оказывать! – определенное влияние на все последующие формы. Это особая идейно-политическая сфера полиса».

«Полис завещал человечеству по крайней мере три великие политические идеи»¹⁷. Это, прежде всего, гражданская идея. Осознание себя членом гражданского коллектива, сознание своих прав и обязанностей, чувство гражданского долга, причастность к жизни всей общины, наконец, огромное значение мнения или признания сограждан нашли себе в полисе наиболее яркое выражение. Очевидно, гражданин полиса не испытывал того, что мы называем сейчас отчуждени-

litical) – при русском их переводе требуют пояснений. В семантическом поле первого значение «город» осложнено значением, идущим от латинской этимологии. «City» – не town, а центр, обычно сложившийся вокруг собора, т. е. центр духовный и исторический, и в то же время – центр деловой, финансовый, центр постоянной и повышенной активности. «Political» звучит как производное от «полис» – античный город-государство, и означает не просто «политический», а и «общественный», «принадлежащий к гражданскому коллективу». В обоих случаях эти дополнительные значения ощутимы и в нормальном английском языке, но в данном фрагменте они подчеркнуты и требуют внимания: выражения «ведение дел», «делать деньги», «окружной центр», прямое обращение к читателю перебрасывают мостик от античного *города* к сегодняшней реальности. Такая связь, судя по общему содержанию книги, явно входила в замысел автора.

¹⁶ Утченко С.Л. Политические учения древнего Рима. М.: Наука. 1977. С. 36–38.

¹⁷ Их описание и характеристика излагаются нами далее отчасти выборочно, отчасти реферативно.

ем. Он не мыслил категориями «я» и «они», его взаимоотношения с общиной укладывались в более широкое и объединительное местоимение «мы»¹⁸. Затем – идея демократии. Под этим мы понимаем возникшее в полисе представление о народоправстве, о его принципиальной возможности, о причастности каждого гражданина к управлению, об участии каждого в общественной жизни и деятельности. Наконец, идея республиканизма. Три основных элемента политической структуры гражданской общины сплелись для последующих поколений в единое представление, в идею республики: выборность, коллегиальность, краткосрочность магистратур. Это и есть та идея, тот принцип, который впоследствии всегда мог быть противопоставлен – и фактически противопоставлялся – принципам единовластия, монархии, деспотизма.

Приведенные суждения еще раз подтверждают, что сотни римских городов – сохранившихся до сих пор или живших активно на протяжении былых столетий – свидетельствуют об особом строе общественно-политической жизни, выкристаллизовавшемся здесь в античную эпоху, в чем-то переданном Европе и определившем, в конечном счете, самостоятельный, во многом муниципальный, характер западноевропейской цивилизации.

В предварительном порядке припомним в этой цивилизации основное, для данного исследования наиболее важное.

Первая фаза в становлении европейской государственности в V–VIII веках связана со стремлением власти и ее идеологов использовать в качестве образца Римскую империю. Языком общения на протяжении двух тысяч лет и вплоть до сего дня в значительной части европейских стран остается латинский, развившийся на их территории до состояния нынешних романских языков; в остальных языках Европы массивный слой составляет лексика, к нему восходящая. Важнейшее слагаемое католической веры до сих пор образует *latinitas*, сохраняющаяся как текст вероучения и как внутренняя установка в отношении к нему. Культурная эпоха, во многом сформировавшая духовную жизнь многих европейских стран в XIV–XVI веках,

¹⁸ Здесь явно перефразировано знаменитое определение античного индивида в «Эстетике» Г.В.Ф. Гегеля. См. русский перевод: Т. 2. М.: Искусство, 1969. С. 149.

получила и сохранила имя Возрождения, ибо именно античное – и, прежде всего, антично-римское – наследие стало восприниматься в эту эпоху как вечно возрождаемая норма культуры. Таким же стало наследие императорского Рима для следующей макроэпохи европейского развития и европейской культуры – для эпохи формирования централизованных государств. Именно в XVI–XVIII веках теория государственного управления, теория драматургии, репертуар театра и практика архитектуры оказались построены на антично-римской основе. Позже идеалом и в определенной мере руководством стала традиция римской *virtus* для революционно-освободительных движений, вроде Французской революции 1789–1794 годов или русского декабризма. XIX век создал среднюю школу как нормативный и массовый тип учебного заведения; основу школьной программы там составили классические языки, латинский и древнегреческий.

Античный Рим и в самом деле предстает как зеркало, в котором Европа отражается и видит свой идеализованно нормативный облик, проступающий не только в ее пейзажах и материальных памятниках, но в ее духе, самосознании и исторической практике, от них отличный и от них неотделимый.

Воображение знака и образ эпохи

Научное познание прошлого предполагает, прежде всего, обращение к реальности объективно документированной. Поколения ученых примерно с середины XVIII до середины XX века свято придерживались этого принципа и как наставления в практической работе, и как моральной заповеди. В обоих своих смыслах принцип этот был высказан в классической формулировке одним из патриархов немецкой исторической науки XIX века – Леопольдом фон Ранке. «Если исследование основывается на подлинных источниках и ведется с серьезной преданностью истине, позднейшие открытия могут уточнить отдельные частности, но основные найденные положения найдут себе подтверждение. Ибо истина всегда одна»¹⁹. В результате работы

¹⁹ *von Ranke Leopold. Deutsche Geschichte im Zeitalter der Reformation. Ungekürzte Textausgabe. Wien: I.M.Phaidon Verlag, s.d. S. 10.*

таких ученых мы и сегодня можем опираться на представления об историческом процессе в его фактической достоверности. В пределах настоящих заметок Рим до сих пор был дан нам в меру сил в этом научно обоснованном, объективном и проверяемом виде. Этим он, однако, не исчерпывался.

В приведенной классической формулировке задач и принципов традиционной исторической науки завершающая роль неслучайно оказалась отведена понятию истины. В исторической и культурно-антропологической природе человека понятие это укоренено дважды. Как существо социальное, человек может выжить, лишь опираясь на представления, общие у него с коллективом и родом, и в этом смысле истина для него, как и для рода, к которому он принадлежит, действительно, «всегда одна». Но как субъект *своего* существования он остается индивидуальностью, и потому истина предстает ему также и в ее субъективном переживании. Она не исчерпывается, соответственно, своей единственностью и самодостаточностью. Она несет в себе начало, эту самодостаточную единственность осложняющее, от нее отличное, от нее неотрывное и в нее входящее – стихию живой подвижной жизни, личной и коллективной, которая объемлет эту истину и с которой она, эта стихия, особым образом соотносена. Именно поэтому положение, согласно которому «истина всегда одна» и задача исторического познания состоит в ее обнаружении, должно восприниматься *cum grano salis* – «с щепоткой соли», т. е. с ограничивающими его сомнениями и дополняющими модификациями. Об этом у нас шла речь в самом начале в связи с дневниковой записью Серена Кьеркегора.

Среди тысяч римских надписей государственного содержания мало какая привлекала столько внимания и столько раз комментировалась, как бронзовая таблица, обнаруженная в XIV веке «последним римским трибуном» Кола ди Риенци и содержащая заключительную часть документа, которым сенат и народ Рима даровали в декабре 69 года н. э. верховную власть императору Флавию Веспасиану. Тем не менее, в 1977 году маститый английский историк П.А. Брант взялся еще раз проанализировать указанный текст с целью найти ответ на ключевой вопрос, с ним связанный. – В какой мере данный документ свидетельствует о соединении в римском принципате черт республиканского и монархического укладов и об эволюции этого их соотношения в

истории Рима²⁰. Статья Бранта – образец научного исторического исследования, в частности и потому, что его анализ и полученные выводы полностью соответствуют норме, провозглашенной фон Ранке. Анализ этот, насколько можно судить, охватывает весь круг «подлинных источников», имеющих важнейшее значение для поставленной проблемы, рассматривает их под углом зрения, прямо им соответствующим, никуда не отклоняющимся, и в этом смысле «ведется с серьезной преданностью истине», которая «всегда одна».

Благодаря такому подходу, само понятие истины предстает здесь не только в своей точности, но и в своей самоотрицающей ограниченности. Ибо истина дана здесь как таковая, именно как научная, в самом прямом и традиционном смысле слова, как одна, найденная и доказанная, но именно поэтому за пределами ее остается весь безбрежный материал, вводящий в понятие истины критерий соответствия ее субъективно-человеческой подлинности и многообразию общественного сознания, словом – культуре. В нем, в этом материале, предстает глубочайший социально-психологический слом, пережитый римским обществом в I веке до н. э. и в I веке н. э. Он нашел себе отражение в не-юридических источниках от Иосифа Флавия до Тацита и от Плиния Младшего до Диона Кассия, равно как в тысячах надписей. Таков, например, встающий из этих источников и сохранившийся в памяти последующих веков антисенатский террор. В рамках *этой* памяти становится ясно, насколько изменился просопографический состав высшего органа государственного управления Римом и как могло это сказаться на всей социальной структуре стремительно провинциализирующейся Римской империи. Но и в эту истину не всегда укладываются алеаторные интонации в тексте источников или трудно уловимые реплики в ходе сенатского обсуждения, говорящие о том, как изменились при этом неписанные нормы поведения римлян старого закала и как возникал психологический тип «нового римлянина» (см., например: Тацит. История IV, 4–11). Так же примерно распределяются акценты в рассказах историков о событиях 24–25 января 41 года н. э., в которых отчетливо сказалось раздвоение общественного сознания в Риме: нерешительность

²⁰ *Brunt P.A. Lex de Imperio Vespasiani // Journal of Roman Studies. 1977. Vol. 67.*

и общее колебание между возвращением к доавгустовой конституции, к республиканским порядкам, «к свободе» или к утверждению еще не укрепившейся квазимонархии (*Светоний*. Гай Калигула 60; Божественный Клавдий 10. *Иосиф Флавий*. Иудейские древности XIX, 3–4). Раздвоение это, в конечном счете, было преодолено. Принципат утвердился как форма римской государственности, и в этом смысле прослеживаемая Брантом эволюция получила здесь подтверждение в рамках истины – научной и единой, и на основе прямо документированной памяти. За их пределами, однако, осталась истина в ее полноте и в ее достоверности – реальной, осязаемой и человечески переживаемой. Эта последняя столь же истинна, но истинна по-другому, за счет того ее качества, которое воплощено в истории как культуре. Образ Рима, воссоздаваемый на ее основе, менее четок, менее проверяем и доказуем, но ближе *историческому сознанию* – коллективному и индивидуальному, ближе *жизни и повседневности* Рима и его людей, т. е. в конечном счете – ближе его *истории*, которую нам-то и надо постараться воссоздать.

История как материальная реальность есть то, чего сегодня нет, но то, что было. Контакт с такой историей и ее восприятие поэтому дано нам как достояние памяти. В слове «память» двойственность, живущая и в нем самом, и в понятии, им обозначаемом, в большинстве современных языков не выявлена. Начиная с древности, однако, она была ясно выражена в исходной философской рефлексии, обращенной на понятие памяти, в частности у Аристотеля. Его трактат, посвященный памяти, в греческом оригинале выявляет эту двойственность четко и ясно. Текст его не сохранился, но сохранилось его заглавие: «Péři mnémes kai anamnéseos». В латинском переводе, до нас дошедшем, заглавие полностью передает структуру и смысл оригинала: «De memoria et reminiscencia». При передаче его по-русски, однако, как «О припоминании и памяти» требуются определенные пояснения. Они вызваны тем, что соединение *двух* слов несет в себе обозначение *единого* явления. Первое слово по-гречески: «мнэме» – «память» в исходном, ограниченном и прямом своем значении есть способность к удержанию в сознании по возможности точно воспринятого и *сохранившегося в нем предмета*. Второе греческое слово «анамнесис» означает тоже «память», но в расширенном значении, которое предполагает сохранение того же содержания, но приняв-

шего в себя многочисленные смыслы, ранее накопившиеся в воспринимающем сознании и/или живущие в окружающей культурно-исторической атмосфере. В русском слове «память» и в его аналогах в новых европейских языках совмещены и предстают как единое оба указанных значения, что меняет и углубляет и само понятие, им обозначенное.

Для исследования, которым мы сейчас занимаемся, отсюда вытекает первостепенной важности задача: как надо понимать проследженное в первой части нашей работы проникновение римского наследия в культуру и историю Европы? С чем мы имеем дело в ходе и в итоге такого проникновения – с *античным Римом* как объектом знания, в меру ресурсов и сил науки воссоздаваемым как таковой и на этой основе включающимся в историю и культуру последующих веков? Или с *образом* Рима, отличным от фактической и научно документированной его истории, веками жившим в самосознании римской культуры и римского народа и в таком его облике воспринятым впоследствии европейским сознанием? В этом последнем случае необходимый анализ вписывается в ту систему приемов и методов познания, который обозначается словом «семиотика», в том его смысле, который он обрел в наши дни.

В 1921 году Людвиг Витгенштейн предложил свое сразу же ставшее знаменитым правило философии-исторического исследования: «О чем невозможно говорить, про то следует молчать». Дальнейший ход гуманитарного знания бесконечно опровергал этот тезис, или, скорее, корректировал и дополнял его растущим убеждением в том, что сердцевина истории как человеческого процесса сосредоточена в той области нашего прошлого и в тех его механизмах, о которых чаще всего принято «молчать». Таковы лично и коллективно переживаемые картина мира и структура действительности, таковы установки сознания – ценностные или, напротив того, отрицательные, инстинкты групповой, социальной или классовой солидарности, общественные реакции и готовность к их приятию независимо от их объективного смысла, вкус, мода и увлечения – групповые или личные, навеянные «воздухом эпохи».

Коррекция и дополнение понятия истины под этим углом зрения, расширение и углубление его в соответствии с развитием современных представлений об истории и ее познании приходится в основ-

ном на третью четверть минувшего столетия. Совершившееся здесь преобразование в познании прошлого отражено в бесчисленных конкретных исследованиях, проведенных в эти годы, и, наверное, в не менее многочисленных культурно-философских работах, очерчивающих круг требований, которым такие исследования сегодня удовлетворяют. Среди этих работ наиболее важные и перспективные, связанные с самым существом проблемы, – работы по семиотике культуры.

Повторим некоторое количество вещей общеизвестных, составляющих сегодня арсенал семиотики культуры. Существует задача: возможно более адекватно познать мир общества, истории и культуры, в котором мы жили и живем. Существует объект (и объекты) такого познания, непосредственно данные нашему восприятию, – назовем такой объект *означающим*. Чтобы существовал залог адекватности восприятия и познания, подлинность таких означающих должна быть объективно проверена и доказана. Этим, однако, задача адекватности познания не исчерпывается. Результатом восприятия в указанном выше смысле становится погружение означающего в акте восприятия в сознание, насыщенное пережитым опытом, преображение этого означающего в то, что Аристотель обозначил как «анамнезис». Назовем этот опыт и его нацеленность на восприятие объекта *означаемым*. Взаимодействие означающих и означаемого обеспечивает искомое решение поставленной задачи: познание предмета в его научно достоверной объективности и одновременно на основе личного (или коллективного, эпохального) опыта. Конкретное воплощение такого взаимодействия носит название *знака*. Знаковыми являются, например, ампирические особняки первой трети XIX века, которые вызывают ассоциации с «чем-то римским» как означающим, но одновременно с «чем-то государственным» как означаемым, представленным в окружающем строе жизни с его приматом государственности, монарха, абсолютистской традиции и духовных представлений, с ними связанными. В этом смысле данная ситуация дает ответ на поставленный выше вопрос: антично-римское наследие более или менее отчетливо выступает как *знак* – как слагаемое определенной фазы культурно-исторического развития Европы.

Классическим примером такого семиотического познания является восприятие петербургского памятника Петру I. Он был открыт 7 августа 1782 года и предстал перед зрителями в виде императора на коне, преодолевающего крутой склон скалы. Это *означающее*

было задано *означаемым* – духовной атмосферой времени и, в частности, пониманием роли и характера просвещенного абсолютизма. «Мой царь, – писал Фальконе, – поднимается на верх скалы, служащей ему пьедесталом, – это эмблема побежденных им трудностей <...>. Эта скачка по крутой скале – вот сюжет, данный мне Петром Великим. Природа и люди противопоставляли ему самые отпугивающие трудности. Силой упорства своего гения он преодолел их»²¹. «Отпугивающие трудности» были воплощены для современников от Дидро до Радищева в «грубости нравов и варварстве», преодолев которые, Петр вывел свой народ на путь Просвещения²². *Знак*, заложенный в памятнике, состоял именно в этом.

Проходит два поколения. Мицкевич пишет свое стихотворение «Памятник Петру Великому», где пафос просвещенного абсолютизма уступает место пафосу национально-освободительному, определившему означаемое. В означаемом внимание сосредотачивается теперь на висящих над бездной копытах коня, который, едва весеннее «солнце вольности» пригреет и растопит «водопад тирании», «рухнет вниз и разобьется», увлекая за собой всадника. В «Медном всаднике» Пушкина, который, как известно, знал стихотворение Мицкевича и считался с ним, то же, как будто, означаемое воспринято через иные отношения с иным означаемым.

...А в сем коне какой огонь!
Куда ты скачешь, гордый конь,
И где опустишь ты копыта?
О мощный властелин судьбы!
Не так ли ты над самой бездной,
На высоте уздай железной
Россию поднял на дыбы?

Вне эмоционального и психологического переживания, вне культурного опыта сознания ситуация с означаемыми во многом предстает как идентичная. Сама по себе она может быть охарактеризована как отражающая истину, которая доказуема, объективна и в этом смыс-

²¹ Oeuvres d' Etienne Falconet, statuaire. Vol. II. Lausanne, 1781. P. 183.

²² Письмо Дидро 1777 года // Мастера искусств об искусстве. Т. III. М.: Искусство, 1967. С. 362; Радищев А.Н. Письмо к другу, жительствующему в Тобольске, по долгу звания своего // Избранные сочинения. М.; Л., 1949. С. 12–13.

ле «одна». Но зрение культуры видит лишь те формы, за которыми раскрывается духовное, общественное, антропологически пережитое содержание, непосредственно, материально в предмете не представленное, – видит, другими словами, означающие лишь через их связь с означаемыми, видит лишь формы, обладающие знаковым смыслом, формы-знаки. Зрение культуры семиотично. Человеческая вселенная – это знаковая вселенная.

На этом движение знака, заключенного в статуе Петра, не останавливается. Прошли еще два поколения, менялся их мир, изменились люди и их заинтересованное, пережитое отношение к историческому сюжету. В последние годы XIX столетия скульптор Паоло Трубецкой получает заказ на разработку проекта памятника Александру III. Подготовительные рисунки ясно указывают на тот круг ассоциаций и образов, из которого он в сознании скульптора вырос. В центре этого круга – все тот же фальконетовский Медный всадник, но с изменившимся знаковым наполнением. Тот же всадник, тот же конь, те же копыта и та же узда. Но узда затянута: всадник явно хочет удержать коня на месте, явно не дать ему двигаться дальше, вперед и выше. Конь чувствует и разделяет то же стремление: копыта не подняты, не висят над открывшейся ему бездной, а изо всех сил упираются в землю, препятствуя любому движению. На голове всадника – не антично-лавровый венок, а казачья круглая шапка-бескозырка. Таким видели Александра III либеральные деятели и идеологи эпохи, т. е. так выглядело одно из слагаемых самой эпохи. Знаки, заложенные в возникшем образе, с готовностью откликнулись на их «означаемые», на переживания, чувства и мысли определенного социокультурного круга, тем отразив определенную страницу в движении русской культуры во всей ее пластической и достоверной выразительности.

Такого рода цепи, в которых соединяется несколько знаков, объединенных общим означающим поверх хронологически и культурно-исторически сменяющих друг друга означаемых, встречаются в истории культуры неоднократно. Таков, например, герой трагедии о Гамлете, принце датском. Созданный Шекспиром в самом начале XVII века, он был переинтерпретирован Гёте в самом конце XVIII (в «Годах учения Вильгельма Майстера», гл. 13), Тургеневым в середине XIX (в статье «Гамлет и Дон-Кихот») и несколькими кинорежиссерами в середине XX столетий (в первую очередь Козинцевым в фильме «Гамлет»). В первые годы XXI века он предстает перед

нами, исследователями и читателями, в виде нескольких знаковых символов четырех или пяти культурных эпох. Ролан Барт, один из создателей семиотики культуры как самостоятельной науки, называл способность к созданию подобных цепей «воображением знака» и следующим образом определял его значение. – «Символическое сознание предполагает образ глубины; оно переживает мир как отношение формы, лежащей на поверхности, и некой многоликой, могучей, бездонной пучины, причем образ этот увенчивается представлением о ярко выраженной динамике: отношение между содержанием и формой непрерывно обновляется благодаря течению времени (истории), инфраструктура как бы переполняет края суперструктуры, так что сама структура при этом остается неуловимой»²³.

Но если взаимодействие материально пребывающего означающего и вечно текущего (вместе с историей) означаемого остается неуловимым, то, доказуемое и проверяемое, ответственное и точное познание текущего и меняющегося, «неустанно создаваемого смысла» становится невозможным. Условием такого познания становится обнаружение в «непрестанном обновлении» некоторой остановки, или паузы, которая и делает объективное и доказуемое познание возможным. Исследование таких пауз образует содержание научно-философской проблемы *концепта*. Наш материал, однако, указывает на существование, помимо концептов, еще, по крайней мере, одной такой «остановки». Речь идет о понятии *Образа* в том специфическом смысле, которое выпадает ему на долю в контексте семиотического познания культуры и ее истории²⁴. Как и знак, Образ – всегда двуединство *сохраненного*, т. е. той реальности, что вошла в сознание, и *осмысленного*, т. е. той реальности, которая возникает из взаимодействия сохраненного и порожденного сознанием на основе своего

²³ Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М.: Прогресс, 1989. С. 251. Ср. там же: С. 260, в статье «Структурализм как деятельность». – Человек «вслушивается в естественный голос культуры и все время слышит в ней не столько звучание устойчивых, законченных, “истинных” смыслов, сколько вибрацию той гигантской машины, каковую являет собой человечество, находящееся в процессе неустанного созидания смысла».

²⁴ Договоримся в последующем тексте писать такой итогово-семиотический Образ с заглавной буквы, чтобы отличать его от обиходно разговорного и общелитературного употребления, характерного для всех иных контекстов слова «образ».

опыта – личного, коллективного, группового. Образ выходит за пределы знака за счет крайней широты означаемых, в первую очередь – за счет сохранения в них пережитого содержания, эмоционального и психологического, потому расплывчатого, но и потому же человечески достоверного. Образ выходит за указанные пределы также по своему интересубъективному характеру: несмотря на семиотическую конкретность означаемых, он охватывает отраженную в них реальность в ее эпохально широких масштабах и во всей значительности ее роли в историческом процессе. Поэтому каждое человеческое время видит историю в *неразложимом двуединстве Образа*, спроецированного на реальность, в той или иной мере ее формирующего, но и представляющего в познании в ее человечески пережитых чертах, неотрывных от черт капитально общих и основополагающих²⁵. Растущие из совокупности и слитности означаемых, они тем самым воплощают *память* цивилизации и народа, живущую в его истории в их пластической осязаемости. «И только по связи с ней начинает вырисовываться человеческая общность – подлинная, действенная общность в непосредственности бытия, бытия как экзистенции»²⁶.

²⁵ Мысль эта неоднократно формулировалась в философской рефлексии последнего столетия и образует коренное исходное положение современного культурно-исторического познания. «Просто образ, образ как таковой, не соотнесет меня с прошлым, если только я не отправлюсь в прошлое на его поиски, проследивая тем самым то непрерывное поступательное движение, которое привело его от темноты к свету». *Бергсон А.* Материя и память. Цит. по: *Рикер П.* Память, история, забвение. М.: Изд-во гуманитарной литературы, 2004. С. 83. «Сознание как общность складывается из монад – замкнутых индивидуальностей, которые, однако, в то же время находятся в пространстве интересубъективности, т. е. будучи замкнутыми в себе, они же проецируют свою замкнутость на иные, окружающие монады, создавая вместе с ними некоторое поле. Поле, где взаимодействуют монады и (они же) интересубъективные единицы, – трансцендентально. Оно, другими словами, не предполагает физического сосуществования отдельных физических единиц, а живет в трансцендентальной сфере духа и культуры». *Гуссерль Э.* Пятая картезианская медитация // *Гуссерль Э.* Собр. соч. т. IV. М.: Дом интеллектуальной книги, 2001. С. 81.

²⁶ *Gabriel Marcel.* Essais de philosophie concrète. Paris: Gallimard. 1967. P. 16–17. Этому недооцененному у нас французскому религиозному философу (1889–1973) принадлежит одна из самых глубоких интерпретаций памяти как формы бытия истории.

Образ Древнего Рима и его слагаемые в римской культуре и истории

У древних римлян было в высшей степени развито сознание и первостепенная важность нормативности и назидательности исторического опыта. Именно «сознание» и «важность» как совокупность формулируемых правил и рецептов, где главное – то, о чем можно и нужно «говорить». «В том и состоит главная польза и лучший плод знакомства с событиями минувшего, что видишь всякого рода поучительные примеры в обрамлении величественного целого; здесь и для себя и для государства ты найдешь, чему подражать, здесь же – чего избегать», – писал Тит Ливий (Предисловие, 10). Через полтора столетия ему вторил Тацит. – «Я считаю главнейшей обязанностью анналов сохранить память о проявлениях добродетели и противопоставить бесчестным словам и делам устрашение позором в потомстве» (Анналы III, 65). Поэтому нам приходится рассматривать, прежде всего, те черты, которые были для римлян значимыми и яркими слагаемыми Образа их народа и истории, были всем тем, про что они любили ярко и убедительно «говорить» или, во всяком случае, ценить и переживать. Главными среди таких слагаемых осознаваемого и провозглашаемого Образа в Риме были: консерватизм; экспансия и право; коллегиальность и микромножественная структура общества.

Консерватизм

Вопреки постоянной экспансии Древнего Рима и сочетаясь с ней, уровень и тип производства оставались на протяжении его истории на той стадии, что достигло к этому времени средиземноморское человечество. В основе их лежала обработка земли, годовой сельскохозяйственный цикл и, следовательно, убеждение в циклической структуре времени и истории, в неуклонном и отрадном возвращении всего старого и привычного. Жить означало *хранить* – хранить традиции производства и общественной жизни, хранить некогда сложившуюся иерархичность гражданского коллектива, хранить основанную на ней солидарность общины; означало патриотическое служение родной общине и *mos maiorum* – «нравам предков», а следовательно – при-

мат коллектива и традиции над развитием каждого человека, примат типа и нормы над индивидуальностью, примат общественного долга над интересами личности.

Напомним, хотя бы выборочно, относящийся сюда необъятный материал.

Где же ваши умы, что шли путями прямыми
В годы былые? Куда, обезумев, они уклонились?

«Меры, которые принимались в старину в любой области, были лучше и мудрее, а те, что впоследствии менялись, менялись к худшему». Первое из этих суждений приписывается Аппию Клавдию Слепцу, консулу 307 и 296 годов до н. э. Оно дошло до нас в стихотворной форме, которую им придал поэт Квинт Энний, живший в 239–169 годах до н. э. и которую сохранил Цицерон («Катон, или О старости», гл. 16). Второе суждение принадлежит знаменитому правоведа эпохи Ранней империи Гаю Кассию Лонгину и высказано им в заседании сената в 61 году н. э. (*Тацит. Анналы XIV, 43, 1*). Все четыреста лет уверенность, здесь высказанная, оставалась неколебимой. «Новшества, противные обычаям и нравам наших предков, нам не нравятся и не представляются правильными», – говорилось в сенатском постановлении 92 года до н. э. Оно содержало запрещение преподавать философию и риторику не по-гречески (т. е. как прежде, для немногих избранных), а по-латыни, т. е. для всех заинтересованных, тем самым вводить нежелательные новшества и оказывать влияние на менталитет народа. (*Авл Гелий. «Аттические ночи» XV, 11*). Примерно на середину промежутка, разделявшего время издания постановления и его воспроизведения Авлом Гелием, приходятся строки Горация (Оды III, 6, 46–49):

Чего не портит пагубный бег времен?
Ведь хуже дедов наши родители,
Мы хуже них, а наши будут
Дети и внуки еще порочнее.

Образцом, источником и воплощением консерватизма как основы римского мышления и культуры является сам город Рим. Дело даже не столько в обилии архаических памятников на территории города, сколько в отношении к ним позднейших поколений. Заболоченная низина у подножия холмов Капитолия и Палатина для того, чтобы стать

площадью, на которой столетиями была сосредоточена жизнь Рима, а впоследствии его империи и которая получила название Римского форума, *Forum Romanum*, должна была быть осушена. Дренажные работы, отведшие почвенные воды в подземную трубу, так называемую Великую Клоаку, проводились, если верить Титу Ливию (I, 38, 6 и 56, 2) еще в эпоху царей Тарквиниев, т. е. в VI веке до н. э. Но сводчатый выход ее в Тибр, видный и сегодня, есть результат реконструкций, последние из которых проведены не раньше Суллы и не позднее Августа. Забота о сохранении и комфортном использовании древних сооружений жила и сохранялась, таким образом, по крайней мере, на протяжении пяти столетий.

На самом форуме виден уходящий в землю провал. Он называется *Lacus Curtius*, Курциево озеро. Около 362 года до н. э. он неожиданно возник и, согласно оракулу, не мог закрыться, если богам не будет принесено в жертву «то, что даст римскому государству стоять вечно». Юный Марк Курций признал себя сам и признан был согражданами воплощением таких ценностей – доблести и боевого искусства. Во исполнение требования богов он бросился в провал в полном вооружении, вместе с конем, и обрек себя в жертву (*Ливий*. VII, 6). Провал закрылся, но не полностью. В оставшейся части стены до сих пор видны светлые каменные плитки, остатки облицовки, установленной во время Цезаря или Августа. Благодарная память потомков жила более трехсот лет и навсегда сохранена в самом *Lacus Curtius* как памятнике.

Древний Рим был сказочно богат водопроводной водой – около 900 литров на человека в сутки, т. е. вдвое или втрое больше, чем во многих современных больших городах. Вода доставлялась в город по акведукам, забиравшим ее из особенно чистых горных источников. Акведуки эти строились в старину полководцами из добычи, захваченной в походах, – Аппиев водопровод, например, в 312 году до н. э. упоминавшимся нами выше Аппием Клавдием Слепцом; так называемый Старый Аннио в 272 году до н. э. – и город веками повседневно хранил память о благодетелях общины. Свидетельством может служить хотя бы сочинение Юлия Фронтиня «О водопроводах города Рима», а он ведь был руководителем, как мы бы сказали сейчас, «водного хозяйства города» четыремя или тремя столетиями спустя, в последние годы I века *новой эры*.

Едва ли не самым выразительным свидетельством живой архаики, память о которой непрерывно поддерживалась общиной и проявлялась в Риме на каждом шагу, было сохранение померия. Померий представлял собой территорию, образывавшую историческое ядро Рима вокруг Палатинского холма и определенную изначально первым римским царем Ромулом. Территория эта вмещалась в границы – или, скорее, в ограду, – сакральную и виртуальную в большей мере, нежели реальную. В ней не было ворот, пределы померия отмечались только пограничными камнями, пространство его предназначалось, прежде всего, для жреческих гаданий, направленных на выяснение воли богов. Здесь не могли проводиться народные собрания, сюда не допускалась армия и вообще вооруженные люди, исключение делалось только для полководца-триумфатора, т. е. на этот момент фигуры сакральной. Одно из наиболее существенных описаний померия принадлежит Тациту (Анналы XII, 23). Там, в частности, говорится. – «Цезарь²⁷ расширил пределы города Рима, поступив в соответствии со старинным обычаем, согласно которому тем, кто увеличил размеры империи, предоставлялось право отодвинуть и городскую черту. <...> В дальнейшем город расширялся по мере роста римской державы».

Для нашего анализа самое главное состоит здесь в слиянии и взаимодействии предания, правовой нормы и военно-административной экспансии – сочетание, которое постоянно жило и реализовалось в римском правосознании.

Экспансия

Завоевания, заполнявшие всю историю римлян с VIII века до н. э. и вплоть до II в. н. э., имели своей непосредственной целью рост государственного и личного богатства. Решение о начале войны принималось по инициативе правящих магистратов и под нажимом выходцев из аристократических семей. Но принималось оно все-таки народным собранием как целым, т. е., в конечном счете, заинтересованностью граждан, а значит (до конца II века до н. э.) и тех же италийских крестьян, в грабеже, добыче, расширении податного пространства и в

²⁷ Имеется в виду император Клавдий, правивший в 41–54 гг. н. э.

новых рабах. Неслучайно на протяжении всего II века н. э. известны только четыре случая отказа народного собрания поддержать предложение властей об объявлении войны.

Но в сознании и в культуре народа – т. е. в его Образе – этот облик был неотделим от другого, сакрально-правового (сакрального и правового!) и сливался с ним. Рим в пределах померия не только и даже не столько противостоял всей враждебной бесконечности земель и стран, сколько как бы взаимодействовал и сливался с ними, втягивая их в себя, обнаруживая подведомственность и их самих, и их богов богам и праву Рима. «Есть боги свои у обеих сторон, а в согласии с ними сила и доблесть души» (*Овидий. Метаморфозы XV, 568*). Пространство Рима в глазах граждан было динамичным. Его постоянное расширение за счет завоеваний не только представало как результат таланта полководца и мужества солдат, но становилось возможным и оправданным благодаря распространению на все новые территории сакрального права Рима. В принципе захват никогда не мог быть объявленной целью войны. Ею могло явиться только возмездие – возвращение присвоенного имущества римского народа, искупление нанесенной ему обиды, восстановление права. «Не может быть справедливой война, которая ведется не ради возмездия или ради отражения врагов» (*Цицерон. О государстве III, 35*).

Вот эта-то совокупность убеждений, верований и обычаев и делала экспансию и войну частью культуры Рима и менталитета его народа, неотделимой от жажды самоутверждения, захвата и обогащения, в свою очередь неотделимых от права – сакрального, а впоследствии и юридически оформляемого. Объявление войны было в старину делом особой коллегии жрецов-фециалов. Их глава, *pater patratus*, начинал с обращения к верховным богам римского пантеона Янусу и Юпитеру, которые должны были дать знак того, что требование вернуть римскому народу его захваченное имущество обоснованно и справедливо. Затем жрец отправлялся на территорию будущего противника и излагал властям требования римлян. Если ему отказывали, он возвращался в Рим и в пределах 33 дней должен был обсудить с сенатом, объявлять ли войну. При утвердительном решении он снова отправлялся на границу с дротиком, обитым железом, или с обожженным на огне копьём из священного кизилового дерева и бросал его на территорию врага. Примечательно, что в позд-

нейшее время, когда границы отодвинулись так далеко, что выезжать к ним фециалам стало невозможно, обряд производился символически в самом Риме. Копье фециал бросал на участок земли возле храма Беллоны, который некогда был символически куплен каким-то военнопленным и потому мог рассматриваться как чужая территория. Только теперь, после обращения к Юпитеру и Янусу, справедливая война была объявлена. Результатом ее, как правило, становилось превращение покоренной территории в своего рода вассальное образование, оформляемое и управляемое в соответствии с той же правовой системой, где традиция, юридическая норма и конкретная ситуация дополняли друг друга.

Так действовала сенатская комиссия децемвиров, непосредственно после капитуляции покоренного племени или народа создававшая административное устройство его территории и населения. Так действовала и жреческая коллегия квиндецемвиров («коллегия пятнадцати») – одна из трех «высочайших» жреческих коллегий Рима, основанная еще при царях Тарквиниях. Задача ее жрецов состояла в том, чтобы находить в доверенных им священных книгах указания на те очистительные обряды, которые надлежало совершать в пору бедствий, если они становились грандиозными и разрушительными, угрожали «здоровой силе» (*valetudo*) и «неиссякаемости» (*perpetuitas*) римского народа. Такими были сочтены землетрясение 461 года до н. э., моровые язвы 399 и 293 годов до н. э., разрушение городских стен молнией в 249 году до н. э. Но как и в случае с фециалами или децемвирами, деятельность квиндецемвиров, в конечном счете, имела точкой приложения отношения с внешним, внеримским миром. Коллегия ведала, в частности, – а постепенно и главным образом – введением в римский пантеон богов других народов, постепенно входивших в орбиту доступной римлянам ойкумены. Так, в своих сакральных книгах жрецы-квиндецемвиры нашли указания на необходимость «приглашения» в римский пантеон из Греции Асклепия и Прозерпины, от этрусков – Юноны, что и было сделано со скрупулезным исполнением обрядов, предуказанных сакральным правом. В этой связи можно упомянуть и Столетние игры, и круг обязанностей магистратов. Связь сакральной архаики с правовой нормой, реальной и для современной эпохи, и для отношений Рима с внешним миром, остается такой же действительной, как в примерах, приведенных выше.

Тит Ливий, приступая к повествованию о грядущих веках Римской республики, предупреждал читателя, что «его рассказ пойдет дальше о власти законов, превосходящих человеческую» (II, 1). Связь «власти законов, превосходящей человеческую», с архаической картиной мира, в которой такие законы были так часто укоренены, подтверждена многократно и историческим материалом, и современными исследованиями. – «Здесь ясно видна структурная связь между пространством и правом. <...>. С помощью обряда *pater patratus* (верховный руководитель коллегии фециалов) полагал римское право пространственно»²⁸. «Характерные черты римской идеологии – элементы консерватизма и враждебности ко всяким новшествам. <...>. Древнеримская мораль была целиком ориентирована в прошлое»²⁹.

В Образе Рима эта связка консерватизма, экспансии и права существовала изначально и жила вечно в сознании и риторике его культуры и его граждан, пока существовала община Рима.

Нам остается рассмотреть еще одно, завершающее, слагаемое Образа Рима – микрогруппы.

Микрогруппы

Римское государство в своем древнейшем нам известном состоянии представляло собой совокупность родов. Род с самого начала – а во многом и до конца, т. е. до II – начала III веков н. э. – представлял собой величину биологическую и в то же время правовую. Род этот носил патриархальный характер; подчиненное положение женщины явствует, между прочим, из того, что она не имела собственного имени и обозначалась по имени рода. Все, кто не являлся главой рода, представляли собой его собственность: рабы и иностранцы – просто собственность; остальные – тоже собственность главы рода, но обозначаемые, в отличие от первых, словом *liberi* – «свободные»; последние могли функционировать политически как граждане. Их совокупное название – квириты. По мере отступления рода перед общиной как государством такое название заменялось названием чисто право-

²⁸ *Meslin Michel. L'Homme Romain des origines au I^{er} siècle de notre ère. Essais d'anthropologie. Hachette, 1978. P. 43.*

²⁹ *Утченко С.Л. Идеино-политическая борьба в Риме накануне падения республики. М., 1952. С. 54, 56.*

вым – *cives*, «граждане». На этом основании Моммзен настоятельно подчеркивал, что в Риме «государственное единство должно было исключать самостоятельность входящих в него частей»³⁰.

Эта мысль, повторявшаяся вслед за Моммзеном многочисленными историками и ставшая в науке о Древнем Риме общепризнанной, полностью оправдана, но относится она к тому пласту общественного бытия, который документирован, формализован и о котором можно и нужно – а уж в эпоху Моммзена тем более – «говорить». «Говорить» же приходится о том, что «государственное единство исключало самостоятельность входящих в него частей» в виде унаследованного от эпохи родовой организации навыка упомянутой выше принадлежности каждого гражданина к ограниченной и обозримой компактной группе. *Обозначим этот навык и саму эту принадлежность словом, которого в русском языке нет, но которое при обсуждении такой коренной проблемы культуры должно в нем появиться, – словом «коэзия» (от латинского haereo и особенно adhaereo – примыкать, сливаться, склеиваться).* К такого рода стабильным и формализованным группам относились коллегии магистратов (консульские, преторские, эдилитетные и пр.), коллегии, которым доверялось какое-либо поручение *ad hoc* (триумвиры, децемвиры и пр.), жреческие коллегии (упоминавшиеся выше квиндецемвиры, фециалы и пр.). Тот факт, что они принадлежали к государству и потому «исключали самостоятельность входящих в него частей», действительно, вполне очевиден.

Он, однако, становился не до конца очевидным в случае, например, формирования групп *amicī*, «друзей», при магистрате. То были люди, примыкающие к власти и, соответственно, в какой-то мере как бы осененные государственной ответственностью, «исключавшей самостоятельность» по отношению к ней. В то же время они никем не назначались и/или избирались, приглашались в нее ново назначенным магистратом по личным мотивам и тем самым в определенной мере, действительно, предполагали самостоятельность. Такая самостоятельность становилась соразмеряемой не только с государством, но и с лицом, осуществлявшим по семейно-родовой традиции покровительство по отношению к людям, от него зависимым, т. е. воплощавшим ту же коэзию.

³⁰ *Mommsen Th. Abriss des römischen Staatsrecht. Leipzig, 1893. S. 6.*

Такое положение, при котором консервативно-правовая традиция определяла общественные отношения в рамках римской гражданской общины, как впоследствии и в римском государстве, но при этом никогда эти отношения не исчерпывала, а всегда была в той или иной мере осложнена отношениями личными, всегда сохранялось и в Образе Рима, и в реально-исторической практике на протяжении всей его истории. *Это порождало отчетливую коэзию, воплощенную, в частности, в распространении социальных ячеек, где такая осложненность образовывала суть и смысл подобных образований, а их микромножественная структура становилась универсальной чертой римского социального устройства.* Ниже сделана попытка привести примеры, охватывающие максимальное количество разных сторон римской жизни, и тем самым, свидетельствующие об обоснованности сформулированного взгляда.

Особенно сложным было, например, положение тех групп, которые чаще всего назывались в Риме *factio*. Само это слово, как почти все слова культуры, непереводимо в связи со специфическим сочетанием в нем значений, заложенных в культурной традиции народа, нам же сейчас непонятных. Переводить такие слова, строго говоря, невозможно – их приходится объяснять. *Factio* означало, прежде всего, действие юридически оформленное, т. е. входящее в государственно-правовую систему. Отсюда – «школа» или «направление», в частности, в толковании правовых понятий. Но «школа» влечет за собой представление о группе, отстаивающей определенную позицию или систему взглядов, а следовательно, о группировке, в частности, нередко – политической. В римских условиях это последнее значение ассоциировалось, прежде всего, с семейно-родовой организацией и с отстаиванием интересов семейно-родовой группы, а значит, в ущерб другим политически конкурирующим группам. *Populus paucorum factione oppressus* – «народ угнетен, придавлен, *factione*, т. е. в этом контексте – сговором немногих, кланом», – писал Цезарь³¹. Здесь особенно ясно видна живая сложность ситуации. Семейно-родовая орга-

³¹ Такое положение выражено особенно ясно у Саллюстия (Югурта 41): «*Nobilitas factione magis pollebat; plebis vis soluta atque dispersa in multitudine minus poterat*». – «Знать брала верх за счет своих кланов (*factione*); силы же народа, лишённые единства, оставались рассеянными, и могли достичь несравненно меньшего».

низация общества выражалась в конкурирующих, а значит, подчас и конфликтующих группах. Они, с одной стороны, свидетельствовали о групповой разобщенности гражданского коллектива; с другой – именно в них и в их конкуренции реализовалась политическая жизнь общины и функционирование государства во всей их традиционности. Последняя снова существовала *sum grano salis* – как установленная от века и не допускающая новшеств, угрожающих бытию общинно-государственного целого; и в то же время – как порождение личных связей и пристрастий, т. е. что-то этим целым и его интересами не исчерпывающееся. Как часто приходилось скорбеть об этой вредоносной конкуренции Цицерону, и как часто бывал он в нее втянут!

Консервативно-римский строй жизни и мышления требовал, чтобы человек всегда к чему-то принадлежал. Выпавший из «правильного» общественного, а тем самым и антропологического целого – родового, гражданского, семейного, – чтобы обрести социальную и психологическую полноценность должен был тут же закатиться в какую-то лунку. Единичность, непричастность к родовому или даже семейному, полисному, любому другому целому делала его граждански неполноценным. «Нельзя, мне кажется, не видеть, что самим рождением мы предназначены вступить в некоторую всеобщую связь, особенно тесную с теми, кто ближе, – сограждане нам ближе чужестранцев, родные ближе посторонних...» (Цицерон. Лелий, или О дружбе V, 19). Он легко мог продолжить. – «Еще более тесные узы – принадлежность к одной и той же гражданской общине. Ведь у граждан есть много общего: форум, храмы, портики, улицы, законы, права, правосудие, голосование» (Цицерон. Об обязанностях XVII, 53).

Цицерон посвятил дружбе отдельный диалог. Здесь он напоминал, что в составе «всеобщей связи», объединяющей людей в сообщества, последние оказываются особенно крепкими, «если опираются на дружбу и приязнь». Дружба вообще, по его словам, «есть не что иное, как единомушие во всех делах, божественных и человеческих, укрепляемое приязнью и любовью». Слова «приязнь и любовь» читаются в контексте римской культуры не в том лирически интимном человеческом регистре, в каком они воспринимаются читателем Нового времени. Дела божественные и человеческие подразумевают участие в жизни общины, подразумевают общественно-политический выбор и утверждение традиционных римских ценностей. В этом все дело.

«Доблесть, – продолжает Цицерон, – сама и порождает дружбу, и укрепляет ее, и без доблести дружба никоим образом существовать не может». Но гражданская доблесть, *virtus*, – едва ли не важнейшая исконно римская ценность, одно из важнейших слагаемых того Образа античного Рима, с которым он идентифицировался в народной традиции и в народном сознании.

Любое сколько-нибудь существенное решение граждан не принимал единолично, а всегда и только посоветовавшись с теми, кого римляне и называли своими «друзьями», *amici*. Такие «друзья» окружали каждого граждански полноценного самостоятельного человека, именно в силу своей гражданской самостоятельности вовлеченного в обсуждение государственных дел, а его *amici* разделяли с ним ответственность за принятие политических и общинно-государственных решений. Но растворение их в государственных структурах в этом случае было отнюдь не полным, а в большей части случаев становилось неотличимым от дружеских связей и чувств, от традиций семьи и т. д. Таково было, например, происхождение консультативного совета при принцепсе, без которого обычно не принимались никакие важные решения и который к середине I века н. э. стал вполне бюрократизованной инстанцией власти, хотя и продолжал стилизоваться в виде – а в большой степени и быть – под дружескую компанию принцепса как частного лица. Коллегиальный принцип всегда оставался основой властных структур – консулата, народного трибуната, преторов и эдилов в Риме и в городах империи, и так же последовательно – в сакральной области, хотя бы в рассмотренных выше случаях жрецов фециалов и квиндецемвиров, хотя тень личных пристрастий или связей ощущалась в них в большинстве случаев. Несамостоятельность личных отношений в Риме и их подчинение гражданскому и государственному бытию *rei publicae* выступают здесь с той же полной отчетливостью, с какой и осложненность их личными чувствами и отношениями.

Солидарность как «единодушие во всех делах, божественных и человеческих», хотя при этом и «укрепляемая приязнью и любовью», придает общественный и гражданский смысл такому, на наш современный взгляд, глубоко личному документу, как надгробная надпись – эпитафия. Первые сохранившиеся до наших дней эпитафии принадлежат патрицианскому роду Сципионов и относятся

к III веку до н. э. Ни для неповторимых особенностей покойного, ни для чувств, ни для чего личного здесь места нет. Даже в самом конце республики в условиях общего кризиса ее традиционных ценностей эпитафия знатных римлян остается формой посмертной оценки их государственной деятельности: смысл прожитой жизни – в магистратурах, которые занимал покойный, в его продвижении по дороге почестей, т. е. в его службе республике. Но по мере распада традиционных ценностей общины человек, продолжая оставаться в некотором смысле вписанным в вечный Образ Рима, тем не менее, все явственней становится предметом личных чувств, что и получает отражение в распространенном содержании надгробных надписей с I–II веков н. э. Показательно, что и в эту пору в местных музеях небольших французских и немецких городов, выросших из римских колоний и муниципиев, видно немало эпитафий римских солдат (обычно уже демобилизованных). Они чаще всего поставлены коллективно, от лица товарищей, т. е., так сказать, от лица службы, но одновременно и коллективом *comilitones* – «боевых товарищей».

Во имя той же консервативной системы ценностей в общественном мнении сохранялась отмеченная выше иерархичность гражданского коллектива. Патрицианская семья воспринималась как стоящая иерархически выше, нежели семья, недавно обретшая всадническое достоинство, а эта последняя – выше, чем происходящая от вольноотпущенника или провинциала. Так, сохранялось на протяжении веков действие закона Огульниев от 300 года до н. э., допускавшего к руководству жреческими ритуалами только лиц патрицианского происхождения и не допускавших к ним плебеев. О том же говорит, например, четырнадцатью веками позже (т. е. в конце I в. н. э.) сценка в цирке, описанная Марциалом. – Отпущенник, облаченный в белоснежную тогу, развалившись, жалуется в цирке окружающим на то, что сидеть приходится среди безродного сброда; подошедший цирковой надзиратель узнал его и приказал тут же очистить неподобающее ему место.

Такого рода атавизмы и стилизации постоянно сохраняются в их двойственности. С одной стороны, неуклонно прокладывает себе дорогу сознание не-универсальности Образа Рима – консервативно-исторически, социально и иерархически застылого, архаически правового. Растет форма осознания индивидуального выбора, проявляющаяся в растущей искусственности патрицианской иерархии,

в солидарности муниципального коллектива, в роли личного выбора и приязни в амикальных отношениях на фоне солидарности семейно-родовой. С другой стороны, неуклонно – не в сознании, так в подсознании, не в том, о чем «говорится», так в том, о чем «молчится», – чувство группы, групповой солидарности, рождаясь из постоянной и личной потребности в ней, может быть удовлетворено, только если оно опосредовано началом общинным и государственным, требующим неуклонного соблюдения, и вписана в него.

В этой двойственности непосредственного и заинтересованного участия в жизни государства с его неизменно сохраняющейся консервативной основой и тяготеющей к выходу за эти пределы деятельности индивидов, акцент в обобщенном Образе Рима неизменно сохранялся за первым из двух названных компонентов. Соответственно, каждое из слагаемых Образа Рима, жившего в сознании и в языке его народа, а тем самым и этот Образ в целом в его монументальности сопротивлялись движению, развитию и индивидуализации общественной жизни. При этом он сохранялся определенным образом в менталитете народа, в передаваемой от поколения к поколению системе ценностей, в атмосфере и риторике общественной действительности. Он, несмотря ни на что, стоял над жизнью как норма и некоторый указательный перст, носил поэтому в принципе наджизненный характер, а следовательно, порождал сопротивление ему самой жизни, шедшей своим чередом.

Норма по природе своей не может стать жизнью, как жизнь не может свестись к норме. Каждая из них и они все в целом противоречат онтологически и антропологически заданному двуединству бытия, которое столь же онтологически и антропологически неизбежно и неуклонно должно быть восстановлено. Такое восстановление предполагает реабилитацию жизни, логики и потребностей, с ней связанных, в ее агоне с нормой. Человеческая реальность не может исчерпываться сохранением и по природе своей требует дополнения ее движением и развитием. Расширение коллектива и его жизненного пространства на территории других жизненных пространств невозможно без контактов с проживающими там народами и взаимодействия с ними, следовательно, *in spe* усвоения их опыта и разложения под их влиянием опыта консервативного и исконно римского. Социально гражданская, и потому иерархическая, организация не мо-

жет исчерпать существование человека, по природе своей нуждающегося в окружении, благоприятном для его жизни. Из этих невозможностей вытекает невозможность сохранения в их выше очерченном виде консерватизма, экспансии, осложненной правом, и подчиненности микрогрупповой структуры общественной реальности государства. Но именно поэтому двойная осложненность нормы и возникающего из нее Образа, ограничиваемого реальными интересами жизни, и Жизни, которая всегда разворачивается на фоне неуклонно присутствующего Образа и потому осознает свою ущербность, пронизывают всю историю Рима.

Движимые тем же стремлением понять дихотомию нормы и жизни как универсальную стихию существования Рима и римлян, остановимся еще на нескольких его – этого существования – устойчивых чертах.

Непосредственным выражением указанного противоречия была так называемая теория порчи нравов. Ее исходное и главное содержание состояло в том, что обогащение Рима в результате бесконечных войн привело к обесценению былых навыков личного и общественного существования и к распространению того, что Катон Старший назвал *nova flagitia*, «бесстыдными новшествами»³². К ним он относил роскошь в частной жизни, корыстолюбие, надменность, необузданность, изнеженность и избалованность, леность. В его времена, т. е. в начале II века до н. э., ясно ощущалось единство всех этих *flagitia*. Они воспринимались как производные от стремления удовлетворять чисто личные интересы таким образом, что они вступали в противоречие с требованиями общего блага и процветания общины³³. *Nova flagitia* в своем единстве не только не вмещаются в Образ Рима, противоречат ему и его разрушают, но и создают систему, с ним же при этом соотношенную, хотя в то же время и альтернативную ему. К ней относятся греческое влияние, то, что в Риме называлось *audacia*, *cultus*, азианизм и «извращенное красноречие» (Квинтилиан), настенная живопись II и IV Помпейского стиля и некоторые другие явления.

³² Плутарх. Катон Старший 16–19.

³³ См.: Утченко С.Л. Политические учения Древнего Рима. М.: Наука, 1977. С. 78, и вся глава «Теория упадка нравов и идея нравственной реформы».

В результате войн 190–140 годов до н. э., завершившихся покорением Греции и превращением ее в провинцию Ахайя, в империи Рима широко распространилось влияние греческой духовной культуры и греческого образа жизни. Первое было подхвачено кругами общества, открытыми размышлениям о судьбе и истории Рима, преданными его системе ценностей, но и готовыми и далее расширять свой духовный кругозор за счет осознанно великой и универсально привлекательной философии Греции, ее культуры и форм повседневного существования. Последнее так преобразовало повседневную среду римлян и их городов, что они стали мало чем отличаться от греческих. К концу Второй Пунической войны командовавший римскими войсками Сципион Старший стал одеваться и вести себя по-гречески. Последовал донос в Сенат, но времена менялись, и присланная сенатская комиссия не нашла в деятельности и поведении Сципиона ничего предосудительного. Та же семья несколькими десятилетиями позже приютила у себя греческого историка Полибия, дав ему возможность завершить свою написанную по-гречески «Всеобщую историю», ставшую одним из основных источников не только по Греции, но и по Риму той эпохи. Немногим позже греческое посольство, прибыв в Рим, обратилось к сходке римских граждан по-гречески, что не помешало и толпе римлян, и самим послам прекрасно договориться по обсуждавшимся вопросам. Двумя-тремя поколениями позже Цицерон, римский сенатор и консулярный, носитель почетного звания Отца Отечества, в речах и сочинениях разоблачал распространившуюся манию эллинофильства и утверждал сакральное право римлян править всеми другими народами. При этом он в молодости провел несколько лет в Греции, осваивая греческое красноречие, в старости написал «Тускуланские беседы», целиком ориентированные на греческую философскую традицию, и трактат «Брут» – историю римского красноречия, столь же полно ориентированную на традицию греческой риторики. Платона он называл «нашим божеством» и переписывался со своим другом Аттиком, навсегда переселившимся в Афины. Гораций, создавший в первых шести одах из третьей книги «Од» гимн императору Августу и Империи, им созданной, считал делом своей жизни и творчества внесение в Рим греческой поэзии. Пасынок Августа Тиберий, будущий император, когда до того был отправлен в изгнание, предпочел переселиться на

греческий Родос, а полутора веками позже римский император Марк Аврелий написал по-гречески свою исповедь; она же – звено во внутреннем развитии греческой философии.

Греческая культурная традиция вписана в традицию римскую, но в ее пределах в то же время противостоит ей. Коренной, исходный и вечный Образ Рима никуда не исчезает. Он – постоянный контрастный фон, на котором римлянин видит свою повседневность, общественную и личную. Фон этот время от времени тускнеет, чтобы возродиться на излете античной эпохи в атмосфере, из которой возникает Европа.

Эллинизм проникает не только в духовную культуру, но и в повседневный быт. И опять-таки с теми же результатами. Римский особняк, *domus*, обретает греческий облик. Со стороны, противоположной фасаду, к дому пристраивается внутренний декоративный садик, который становится местопребыванием семьи. Здесь отдыхают взрослые и играют дети. Называется эта часть дома греческим словом «перистиль», а следящие за детьми воспитатели – греческим словом «педагоги». Но семья, как мы уже видели, в Риме по-прежнему вписана в общественную структуру; в этом особом смысле – она часть государства. И вот эта-то ее сторона образует иное, самостоятельное пространство. Оно обозначается не греческим, а исконно латинским словом, окруженным глубинными индоевропейскими ассоциациями, – атрий. Его обстановка – столь же исконна, как само слово, и столь же исконно, граждански, римское – все то, что здесь происходит. В центре – углубленный в пол бассейн, куда стекает через архитектурно оформленное отверстие в крыше дождевая вода. Никому она в доме, разумеется, не нужна, но несколькими веками ранее, когда существовал крестьянский двор, ныне «моделируемый» атрием, она составляла резерв, жизненно необходимый для орошения участка, и забыть об этом не дано никому. У стены, противоположной входу, – открытый стеллаж; в нем – маски предков, осязаемо документирующие древность семьи и рода, нередко – и их магистратское служение *rei publicae*. Рядом – декоративно оформленный сундук, *арса*, где хранятся деловые, а нередко и государственно официальные документы.

Грекофилия – далеко не единственное проявление той реально повседневной жизни, сквозь которую постоянно проступает ее консервативно римская культурно-историческая глубина. Сенат – верхов-

ный и исконно римский орган государственного управления. Власть Рима и в пропагандистской риторике, и в ее реальной мощи, выражалась формулой *Senatus Populusque Romanus* – Сенат и народ Рима. Чем больше римская республика приобретала черты принципата, тем чаще Сенат становился ареной столкновения сил, поддерживающих императоров в их перестройке и обновлении неписаной конституции Рима. Но чем настойчивей сопротивлялось им сенатское большинство, тем острее ощущалось, что логика *de facto* не исчерпывает дело, что *pro domo sua* и консервативное большинство, и активное проимператорское меньшинство считают нормой – пусть идеальной – консервативно римскую неизменно республиканскую традицию. Трехглавая формула, на которую опиралось сенатское «меньшинство», была представлена Тацитом в виде: *audax, callidus, promptus* (дерзость, упорство, быстрота решений). Столь же демонстративная формула «большинства», явствовавшая из того же источника, складывалась из *mos maiorum, pietas, virtus* (нравы предков, благоговение перед ценностями общины, гражданская доблесть). На уровне повседневной политической рутины сенатских заседаний столкновение обеих противостоящих друг другу сил – актуально императорской, сегодняшней новизны и искренняя, хотя и архаически стилизованная, преданность Образу республики – выступало совершенно ясно³⁴. Так было, например, в 48 году н. э., когда сенаторы «большинства» потребовали возрождения старинного закона Цинция, требовавшего наказания за получение денежного вознаграждения в связи с выступлением в суде. Закон этот был проведен в 204 году до н. э. и ставил своей целью сохранить целостность и крепость семьи как извечной и постоянной основы римского общества, ограждая ее от угрозы денежных вымогательств и денежных расчетов. Сенаторы «меньшинства», постоянно преследовавшие своих противников пламенными речами, провоцируя против них судебные процессы по обвинению в заговорах против императоров, строили эту свою деятельность на признании невозможности следовать архаическим законам, когда жизнь целиком обновилась.

В основе такого рода столкновений, однако, оставалось общее убеждение в том, что повседневно текущая кругом жизнь, ее разви-

³⁴ См. более подробно: *Кнабе Г.С.* “Multi bonique” и “pauci et validi” в римском сенате Нерона и Флавиев // *Вестник древней истории.* 1970. № 3.

тие и оправдание есть нечто поверхностно конъюнктурное, тогда как в своих основах общественное бытие продолжает строиться на постоянных и непреложных традициях и преданиях римской старины. Тот же император Клавдий, частично удовлетворивший притязания «меньшинства» в только что описанном конфликте, открывал вскоре торжественную речь в сенате и обосновывал предлагаемое им решение ссылкой на «пример своих предков» и их – а тем самым и свою – принадлежность к древнейшим, Ромуловым, патрициям. Но сменивший его в верховной власти Нерон – принадлежавший к тому же патрицианскому роду – посвятил все свои силы перестройке римской действительности и римской власти не на римский, а на гречески-космополитический лад и при этом заплатил жизнью за эту перестройку императорского режима. Гальба, сменивший Нерона в роли императора и принцепса, был особенно прям и красноречив. «Если бы огромное тело государства, – говорил он, – могло бы устоять и сохранить равновесие без направляющей руки единого правителя, я хотел бы быть достойным положить начало республиканскому правлению. Однако мы издавна вынуждены идти по другой дороге»³⁵.

Это умонастроение царило не только в сенате или в аристократических кругах. Оно было постоянным и универсальным. Авл Гелий сохранил в своих «Аттических ночах» характерную бытовую зарисовку. В школу ритора, игравшую в Риме роль своеобразного гуманитарного университета, входит группа «студентов». Они учатся здесь давно, всем хорошо известны – известно, в частности, и то, что они происходят из сенаторских семей. Одеты они, как все на улице, с ко-торой они появились, – туника, через руку плащ-накидка, сандалии. Ритор, ведущий занятия, обрушивается на них с градом упреков. Вы – римляне, отпрыски знатных, старых, семей Рима, – говорит он. – Где ваши тоги, где высокие башмаки – признак сенатского рода? Где ваш стыд, ваша гордость за принадлежность к владыкам мира – старым римским родам? – Что отвечали вошедшие – неизвестно. Умонастроение, из которого исходит ритор и которое нас здесь интересует, выражено достаточно ясно.

Все приведенные многочисленные примеры – а их, как было упомянуто выше, могло бы быть значительно больше – говорят об одном

³⁵ *Тацит*. История I, 16.

и том же: о противоречии нормы и жизни, постоянно снимаемом и постоянно сохраняемом ходом римского культурно-исторического развития. Вывод этот основывается на материалах непосредственно переживаемой реальности, повседневно бытовой или общественно политической, дан нам в своей конкретности и осязаемости и в этом смысле предстает как содержание Образа. Другими словами, как то содержание, которое мы обозначили понятиями «консерватизм», «экспансия» и «микрогрупповая структура общества». В последнем случае – как разлитую в римской общественно-психологической реальности способность ее людей выходить за рамки изначально заданного коллектива и, рано или поздно, в той или иной форме, возвращаться в него. Не в тот, так в другой, но всегда объединяющий людей в группу, не «макро», так «микро».

Similitudo temporum и Римская Европа

Средние века.

Государственность и христианство

Словосочетание *similirudo temporum* (по-латыни «подобие, или сходство, времен») искони обозначало восприятие исторического времени, согласно которому исторические события и состояния не столько возникают из окружающих условий, сколько повторяют события и состояния более ранних эпох, в частности Древнего Рима и, в первую очередь, его Ранней империи. Первым опытом такого сознательного обращения к культурно-историческому опыту Древнего Рима явились меры, предпринимавшиеся правителями римского государства в V–VII веках, т. е. в ту эпоху, когда реальный античный Рим уже перестал существовать, уступив и продолжая уступать место власти готов. Меры были направлены на то, чтобы возникавшее варварское королевство воспринималось как возрождаемая и длящаяся Римская империя эпохи принципата. «Вам всем следует без сопротивления подчиняться римским обычаям, к которым вы вновь возвращаетесь после длительного перерыва, ибо должно быть благословенно восстановление того, что, как известно, служило процветанию ваших предков. Обретя по божественному соизволению

древнюю свободу, вы опять возвращаетесь в одеяние римских нравов». Эти слова принадлежат Кассиодору, сенатору и консулу при Теодорихе³⁶; они передают мысли и установки правителей империи – самого Теодориха и сменившего его Теодата – и содержат ту главную идею, на которой веками будет отныне строиться отношение Европы к своему римскому наследию.

Что, в сущности, сказано в приведенном абзаце? Что «одеяние римских нравов» есть исконное, общественно-политическое и духовное, современное состояние римского государства и его граждан. В этом его состоянии наступил «длительный перерыв», который отделил эпоху «процветания» Рима от эпохи написания данного текста. Задача, в данное время стоящая перед римским государством, состоит в «возвращении» его к временам «процветания ваших предков». Возвращение и процветание должны наступить «по божественному соизволению», т. е. по христианскому промыслу и вероучению, которое сохраняет римскую систему ценностей – «древнюю свободу» – и возрождает ее. Современники не могут считать себя *прямыми* продолжателями Рима, но они могут и должны жить и ощущать себя в – пусть риторическом и мифологизированном – *образе* тех времен. Реальность эпохи принципата I или II веков н. э. в таком образе им, разумеется, не дана, но *отражена*, и на полноту этого отражения, т. е. на пережитую *similitudo temporum*, ныне могут и должны быть направлены их помыслы.

Возникшая здесь совокупность идей и образов прошла ряд этапов, в ходе которых она образовывала активный фон истории и культуры Европы. Первый из них связан с планами, замыслами и деятельностью Карла Великого (742–814). Почти непрерывные войны, которые он вел, имели своим результатом (по всему судя, сознательно планировавшимся) создание государства, по составу и размерам приближавшегося к Римской империи. Сходство очерченной таким образом римско-каролингской Европы с Римом не исчерпывалось территорией: в 800 году Карл, специально прибыв для этой цели в Рим, принял там римский титул императора. Примечательно, что корону возлагал на Карла папа, действуя, как христианский первосвященник

³⁶ *Cassiod. Variarum* III, 17. Цит. по: *Шкаренков П.П.* Королевская власть в остготской Италии по *Variarum* Кассиодора. М.: РГГУ, 2003.

и, в то же время, как глава Римской империи. Взаимопроникновение европейского христианства и римской идеализованной государственности свидетельствуется здесь, так сказать, документально. Вполне очевидно, что общественно-экономический строй раннефеодальной империи имел мало общего не только с рабовладельческим государством классического Рима, но и с колониальными отношениями, установившимися в последний период его существования. Складывавшийся фактор «Римской империи Европы» с самого начала возникал не столько как санкция реальных отношений, сколько как выражение устойчивого культурно-исторического устроения, стоящего на грани мифа. Как всякий социально-исторический миф, он сказывался в определенной мере на общественной практике, но входил он в нее как элемент культурно-исторического самосознания, которое формирует исторического человека – его действия и его поведение в сфере культуры, политики и искусства.

Следующий этап – Священная Римская империя германской нации. Римский культурно-исторический опыт и соответствующая ему культурно-историческая мифология охватывают, после государственности, еще одну важнейшую сферу общественного бытия становящейся Европы – христианство. Созданная в 962 году, эта империя *sui generis* имела своей непосредственной целью объединение сил и государственных образований Германии и большей части Италии для борьбы против общих внешних врагов – арабов, венгров, норманнов и пр. Цель эта была вполне реальна, но не менее реальна была борьба внутри самой империи между составлявшими ее монархами и владетельными феодалами. Просматривая хронологические таблицы, охватывающие историю Священной империи, нельзя не прийти к выводу, что подобная борьба также, бесспорно, была подлинным содержанием ее военно-политической жизни. Но вскоре выясняется, что и она, эта борьба, тоже не была единственным и необходимым резонансом существования Священной империи: кроме военно-политических или династических резонансов, отчетливо виден резонанс идеологический. В нем нашли себе выражение столь ярко переживавшиеся в Средние века, но до конца так никогда и не исчезающие из позднейшей европейской культуры в их свободном единстве три глубинные силы. Их составили: ощущение Европы как зыбкого по своим границам, трудноуловимого целого, постоянно тяготеющего,

однако, к некоторому единству; воспоминание о Риме и некогда созданной им империи, где отдельные части сосуществуют самостоятельно, но в ощутимой взаимозависимости; связь католического христианства, как вероучения и как церкви, с римским преданием. Германский король Оттон соединяет под своей властью, кроме собственно Германии, славян, живущих между Эльбой и Одером, Восточную Марку, впоследствии ставшую Австрией, и всю Италию. В 962 году папа Иоанн XII коронует его в Риме императором Рима. Власть императора Оттона и его преемников опирается отныне на закон, ибо в кодексе Юстиниана – правовой основе, объединившей варварские королевства на территории Римской империи, ясно сказано: «Всю свою власть, основанную на могуществе и праве, народ передал Римскому принцепсу»³⁷. Прямое продолжение (или предвосхищающее обоснование) этого места Юстинианова кодекса и Дигест обнаруживалось также в составе Нового Завета в знаменитом пассаже относительно того, что «существующие власти от Бога установлены»³⁸. Историческая наука давно уже и с полными основаниями обнаружила в таких «установленных от Бога властях» представшее современникам единство христианского существа таких властей и от этого ее существа неотделимого римского извода. – «Доказательства общего характера получают свое подтверждение в истории. С первоначала времен был лишь единственный период совершенного мира и спокойствия и он же – период совершенной монархии, тот, что видел рождение Господа и правление Августа»³⁹.

Дальнейший шаг в утверждении нераздельности общественно-политического и духовного опыта Европы с культурой и историей Древнего Рима засвидетельствован трактатом Данте Алигьери «О монархии» (1312–1313). Позволим себе пространную выписку, подтвер-

³⁷ *Populus ei in eum omne suum imperium et potestatem concessit Inst. Iust. I, 2, 6; ср.: Dig. I, 4, 1.*

³⁸ Псалом 13: 1–5.

³⁹ Так утверждается в одном из самых полных исследований по теме: *Bruce J. The Holy Roman Empire. London: Macmillan ed., 1913. P. 277.* В подтверждение сказанного автор приводит текст из Второго псалма. – «Короли и князья в том только и были едины, чтобы противостоять Господу их и Господом помазанному Римскому принцепсу» (*Reges et principes in hoc unico concordantes, ut adversentur Domino suo et uncto suo Romano Principi.*)

ждающую и такую нераздельность, и позднейшую преемственность культурно-исторических воззрений: сложившись во времена Теодориха и Кассиодора, эти воззрения ощутимы сквозь ряд дальнейших этапов европейского развития. «В пользу всех приведенных выше доводов свидетельствует достопамятный опыт, а именно то состояние смертных, которое Сын Божий, решив стать человеком ради спасения человека, предусмотрел или по желанию своему установил. В самом деле, если мы припомним состояния людей и времена от падения прародителей, ставшего началом уклонения от правового пути, мы не найдем мгновения, когда мир был бы совершенно спокойным, кроме как при божественном монархе Августе, когда существовала совершенная монархия. И что тогда человеческий род был счастлив, вкушая спокойствие всеобщего мира, об этом свидетельствуют все историки, знаменитые поэты, и о том же благоволил свидетельствовать летописец жизни Христовой, а Павел, наконец, назвал это блаженнейшее состояние “полнотой времен”»⁴⁰.

Эпоха классицизма. Политика и искусство

Эпоха Возрождения, как это ни странно, вряд ли должна занять место в том обзоре римского наследия, который мы предлагаем вниманию читателя. Цель этого обзора состоит в том, чтобы выявить элементы, которые в ту или иную эпоху вошли в европейское культурно-историческое развитие и надолго задержались в нем, придав ему некоторые характерные, во многом до сих пор длящиеся черты. Судьба римского наследия в культуре Возрождения этой цели мало соответствует, или не соответствует вообще. Сам этот термин, родившийся тогда же, отражал восприятие средневекового пласта культуры как лишённого самостоятельного содержания и лишь заполнявшего промежуток между подлинными эпохами духовно ценностными:

⁴⁰ Монархия I, XVI // *Данте Алигьери. Малые произведения* / Перев. и коммент. И.Н. Голенищева-Кутузова. М.: Наука, 1968. С. 320. В последней ссылке имеется в виду: Апостол Павел. Послание к Галатам 4: 4. По смыслу и по употреблению выражение это соответствует формуле, усиленно употреблявшейся в раннем принципате для обозначения порядков, основанных Августом: *Pax Romana*.

между античностью и ее «возрождением» после глухой паузы «средних» веков. Соответственно, в первой, итальянской, фазе Ренессанса, задача усматривалась в том, чтобы обнаружить возможно больше античных памятников, выправить их текст, освоить языковой канон «настоящей» латыни, подражать текстам и их содержанию в речи и в быту. Рассмотрение окружающей культурной, целостной и народной реальности как несущей в своем развитии антично-римские слагаемые, к этой реальности в Европе вызревшие и воплотившиеся, насколько можно судить, как задача не ставилось. Во второй, приходившейся на XVI век, эпохе итальянского Ренессанса, когда родился сам термин *similitudo temporum*, такая связь начала осознаваться, но читалась она вне собственно ренессансного контекста, а скорее как введение в проблематику следующей эпохи – эпохи сложения централизованных национальных государств и соответствовавших ей таких культурно-эстетических определений, как эпохи барокко и классицизма. Неслучайно центральной фигурой осознаваемого римского наследия становится теперь воспринятый как «наставник государей» Тацит, а центральной фигурой, среди осознающих это наследие, автор «Государя» – Макиавелли. Кардиналы, собравшиеся в 1560-е годы на Тридентский собор, проявили несравненно более глубокое понимание подлинной природы римского наследия, нежели гуманисты, ощутив, как определенная сторона и определенное содержание этого наследия входят в самую суть и в глубину становящейся эпохи. В Индекс запрещенных книг они внесли в единой связи и Тацита, и Макиавелли – обоих авторов, которых отныне постоянно стали читать европейские монархи и их советники, но которые именно поэтому нарушали, на взгляд кардиналов, традиционную христианскую мораль.

Тем более полно развернулся к северу от Альп процесс перенесения центра тяжести истории и культуры на феномен, дотоле не привлекавший самостоятельного внимания, – национальное государство. Феномен этот не был известен античному миру вообще и Риму в частности⁴¹ и теперь предполагал такое освоение антично-римского материала, которое не столько воспроизводило бы греко-римские

⁴¹ Хорошим введением в тему донныне остается: *Racial Prejudice in Imperial Rome* / Ed. A.N. Sherwin-White. Cambridge, 1967.

реалии и культурно-филологическую образованность, сколько требовало впитывания и переработки этого материала и оплодотворения им текущего опыта становящейся государственности.

Политика

Политика представляет собой ту сферу, где особенно ясно раскрывается вполне осознанная современниками связь римского и европейского культурно-исторического опыта. Самим римлянам Римская империя представлялась как *Roma Aeterna*, т. е. как тип государственной организации, соответствующий природе человека и общества и потому неизменный и как бы обращенный в будущее. Сюда относилось, прежде всего, представление о государстве как о централизованной системе, управляемой из единого центра и подчиненной единым правовым нормам, каждая часть которой обладает, однако, в рамках такой системы ограниченной, но значительной самостоятельностью. Перед Римом задача утверждения такой системы стояла всегда, она встала особенно ясно в связи с кризисом старой республики в конце II века до н. э. и решалась на протяжении всего раннего принципата вплоть до эпохи Антонинов II века н. э. включительно. В Европе так же выглядевшая задача встала во весь свой рост перед западными и северными странами от Испании до Германии. Феодално-раздробленные страны вступали в эпоху образования в Европе крупных национальных монархий. Исторический опыт раннего принципата в Риме читался в этих условиях как опыт преодоления традиций местных очагов общественной жизни. Подчиняясь закону *similitudo temporum*, европейский опыт теперь непосредственно продолжал и повторял как бы вечный по своей природе опыт античного Рима⁴². В реальной политике эпоха представлена именами от Филиппа II и Ришелье до Фридриха II и Бисмарка, в культурной или науч-

⁴² «Изучая события настоящего и прошедшего времени, мы находим, что во всех государствах и у всех народов существовали и существуют одни и те же стремления и страсти. Нетрудно поэтому вывести из внимательного исследования прошедших событий заключение о том, что предстоит в будущем, или прибегать к тем же средствам, которые употреблялись древними». *Макиавелли. Государь и Рассуждения о первой декаде Тита Ливия.* Т. 1. СПб., 1869. С. 39.

ной рефлексии – от Макиавелли до Моммзена, и во всех случаях она использовала в качестве основополагающего опыт Римской империи с опорой, прежде всего, на Тацита. «Великий писатель и особенно полезный великим людям, т. е. тем, кто держит в руках кормило государственной власти, или же стоит рядом с этими кормчими, помогая им советом и побуждением»⁴³. Посвящая кардиналу Ришелье свой перевод сочинений Тацита, переводчик Перро д'Абланкур писал. – «Именно Тацит породил всю политику Испании и Италии; с помощью его ученых сочинений овладевают наукой управления; к нему обращаются за справками и советами государи Австрийского дома всякий раз, когда их принуждают к этому дела»⁴⁴. На фронтисписе упомянутой здесь книги репродуцирована гравюра, предпосланная изданию сочинений Тацита 1612 года. На ней изображено рукопожатие, которым обмениваются женщина в средневековом вооружении и воин в вооружении типично римском. Под женской фигурой подпись: BATAVIA, под мужской: ROMA. По ободку гравюры текст: SOCIETAS ROMANORUM ET BATAVORUM.

Примеры такой SOCIETAS с заменой батавов любым народом Европы или Европой как целым заполняют все пространство культуры этой эпохи, а в более истонченном виде и эпох последующих. Специфическая антропология культуры, которая скрыта здесь в слове *societas* в дальнейшем будет в растущей мере смещаться в центр нашего анализа и чем дальше, тем больше составлять смысл и содержание настоящего исследования. Для раскрытия всей полноты его содержания да будет нам позволено воспользоваться примером, лежащим в стороне от западноевропейского государственного классицизма и от сюжетов, до сих пор составлявших суть нашего изложения, но зато разъясняющим указанный тип культурно-исторического развития с образцовой ясностью, – примером Пушкина.

Академик М.М. Покровский когда-то сказал, что Пушкин знал латинский язык на уровне среднего гимназиста. Примеры, это под-

⁴³ *Iustus Lipsius. Ad lectorem allocution iterate // C. Cornelii Taciti Opera quae exstant Iustus Lipsius postremum recensuit. Antverpiae. Ex officina Plantiniana apud Ioannem Moretum. 1607.*

⁴⁴ Цит. по: *Etter E.-L. Tacitus in der Geistesgeschichte des 16. und 17. Jahrhunderts. Basel; Stuttgart, 1966. S. 26.*

тверждающие, столь же обильны, сколь, в конечном счете, противоречат высказанному академиком вердикту. Пушкин перевел у Тацита *vici Marsorum* («селения племени марсов») как «Марсорские селения», так как не узнал падежную флексию родительного падежа – *orum* и счел ее частью корня. Разбирая латинские сочинения, он обычно пользовался французскими переводами и, переводя латинскую фразу *remisit Caesar* («Цезарь отклонил»), повторил ошибку французского переводчика, приписавшего Тациту прямо противоположный смысл: «Цезарь позволил». Знаменитое изречение «без гнева и пристрастия» принадлежит Тациту, а не, как полагал Пушкин, жившему веком ранее Вергилию. Лукан не жил «гораздо позже» Квинтилиана, а был старшим его современником. И так далее... В том же ряду стоит черновой набросок к VI главе «Евгения Онегина», где Пушкин явно не может толком вспомнить обстоятельств самоубийства Брута и Кассия, по поводу чего и замечает в скобках: «Не помню где, не помню как...».

Таких неточностей и ошибок у Пушкина не слишком много, но и не так уж мало. Объяснение их заключается не в том, что юный лицеист был нерадив или невнимателен и переводил с латинского с ошибками. Ведь лицейские экзаменаторы признали его знания в латинском языке вполне удовлетворительными и на этом основании сочли, что он кончил курс «с весьма хорошими успехами»⁴⁵. В соответствии с духом эпохи они – и Пушкин вслед за ними – ценили владение антично-римским материалом на основе не столько точного знания, сколько ушедших в подсознание упоминаний, ассоциаций со своим временем, переживания впечатляющих сцен и ситуаций, на основе предельно широко понятой их *societas*. Переводя оду Горация I, 1, Пушкин вводит в текст деталь, которая в подлиннике отсутствует. «Заповеданная ограда» в переводе Пушкина могла соответствовать только латинской *spina* – каменной загородке, пересекавшей по длине арену римского цирка. Гораций в переводимом тексте ее не упоминает, Пушкин как бы лично ее видит, дополняя картину, описанную Горацием. Такова же ситуация в начатом было переводе X сатиры Ювенала, где говорится о границах Римской империи и тех тща-

⁴⁵ Селезнев И. История Александровского лицея. Приложение. СПб., 1861. С. 38.

тельно охранявшихся «вратах» в этих границах, которые составляли стратегию римского пограничья. Ювенал их не упоминает, Пушкин упоминает, т. е. знает об их существовании: образ имперского пограничья, как и образ римского *Circus Maximus*, он видит как бы поверх текста, исходя из римской картины города и мира.

Societas римской реальности, знаний эпохи об античности и воображения поэта, несущего в себе вплывший в него из вековой европейской традиции римский материал, достигает особой ясности в поэтическом завещании Пушкина – в стихотворении «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...»⁴⁶. Черновой текст стихотворения состоял из трех строф, ныне заключительных. Как их тема – и, соответственно, как тема стихотворения – воспринималось расхождение поэта со своим временем и еще недавно такой «своей» публикой⁴⁷. В окончательном тексте поэт считал нужным это расхождение, по всему судя, реально им переживавшееся, объяснить, но не на уровне светских или журнальных сплетен, а на уровне эпохальной метафизики истории, единственно достойной самооценки великого поэта. И на роль эту ему всплыл в памяти текст, несший в себе все богатство ассоциаций с пережитой им эпохой и прожитой жизнью – текст великого антично-римского поэта, также прощальный, завершавший по первоначальному замыслу Горация три книги его од – главное, что им было создано. Мы можем почти физически ощутить, как рождается окончательный текст «Памятника» из наплывающих в сознании автора антично-римских ассоциаций. Пушкин перевел две строфы Горация – ныне первые, открывающие «Памятник», изменил их и, тем не менее, (несмотря на бесспорно известный ему перевод Державина) сделал своими. Но римский тон продолжает звучать, и следующий стих – что было замечено лишь сто с лишним лет спу-

⁴⁶ Исчерпывающий материал, к этой теме относящийся, см.: *Алексеев М.П.* Стихотворение Пушкина «Я памятник себе воздвиг...». Л.: Наука, 1967.

⁴⁷ Этот черновой текст Пушкин читал 30 августа 1836 года Н.А. Муханову. Последний рассказал о своем впечатлении Александру Карамзину, который изложил рассказ Муханова в письме брату Андрею от 31 того же месяца. Главное в этом рассказе состояло в том, что Муханов нашел Пушкина «ужасно упавшим духом, ... вздыхающим по потерянной фавории публики».

стя⁴⁸ – из Овидия, так много читаного Пушкиным в молодости: «Слух обо мне пройдет по всей Руси великой»: *Nostra per immensas ibunt praesonia gentes* (*Tristia* IV, IX, 19). А как соотносится предпоследняя строка: «Хвалу и клевету приемли равнодушно» – с *sume superbiam* у Горация? Навеяна воспоминаниями о латинском тексте? Просто попалась на глаза? Всплыла в памяти? Случайное совпадение, вызванное сходным ходом мысли и строем образов? Но ведь и мысль не до конца сходна, и строй образов не совпадает. Просто культура имеет форму контрапункта, и жива она до тех пор, пока взаимодействуют традиция и жизнь, былое и настоящее, пока звучат, как выразился однажды наш старший современник, «переклики в сокровенных недрах культуры»⁴⁹.

Эти римско-европейские «переклики» отчетливо предстают в эпоху классицизма и особенно наглядно – у людей французской революции XVIII века и в атмосфере, их окружавшей⁵⁰. Основной вывод в последнем случае состоит в том, что государственный и культурно-исторический опыт Древнего Рима вообще и раннего принципата в частности составляет тот репертуар идей и приемов, который постоянно стоял перед глазами деятелей революции и использовался ими в качестве примеров и аргументов в политической борьбе времени.

В первые дни революции, 23 июня 1789 года, когда у депутатов Генеральных Штатов возникли подозрения в существовании заговора двора, Мирабо произносит речь, этот заговор разоблачающую, и воспроизводящую нередко близко к тексту, Вторую катилинарию Цицерона. В последние дни собственно революции, революции как таковой, 2 жерминаля 1794 года Сен-Жюст сказал, что «со времени римлян мир пуст»⁵¹. Такое переживание политико-исторического опыта Древнего Рима охватывало не римскую историю в целом, а все больше сосредотачивалось на борьбе за власть в ходе граждан-

⁴⁸ *Costello D. Pushkin and Roman Literature // Oxford Slavonic Papers. 1964. Vol. XI. P. 56*–Отсылка приведена у М.П.Алексеева. С. 78.

⁴⁹ *Флоренский П.А. Троице-Сергиева лавра и Россия // Жизнь и житие Сергия Радонежского. М., 1991. С. 121.*

⁵⁰ Одним из самых ценных исследований и собранием материала остается работа Ф. Зелинского: *Zielinski Th. Cicero im Wandel der Jahrhunderte. 2. Aufl. Leipzig; Berlin, 1908.*

⁵¹ *Zielinski Th. Ibid. S. 318.*

ских войн 40–30 годов I века до н. э. или на критике авторитарных тенденций принцев I века н. э. из династий Юлиев – Клавдиев и Флавиев. Главным источником в первом случае был Цицерон, во втором – Тацит. Примером первого может служить заседание Конвента 29 октября 1792 года, где депутат от Жиронды Луве выступил с разоблачением заговора против Конвента, организуемого врагом коллегиального правления и сторонником установления личной диктатуры. Речь Луве представляла собой парафраз третьей речи Цицерона против Катилины с соответствующей заменой Рима – Парижем, сената – конвентом и Катилины – Робеспьером. Робеспьер, как известно, был меньше всего способен на горячность, возмущение и импровизации. Он попросил время на подготовку ответа и через неделю выступил... с близким к тексту изложением речи Цицерона «В защиту Суллы», где римский оратор снимает с себя обвинения в незаконной казни участников заговора Катилины и в стремлении к единоличной власти. Это использование антично-римского материала не там, где он характерен для римской истории, а избирательно, там, где он востребован обстоятельствами истории современной, – первая и ведущая черта римского классицизма в культуре Европы Нового времени.

Другая его черта, вполне по-пушкински – отношение к антично-римскому материалу как к предмету не столько исторического знания, сколько актуального непосредственного переживания. В «Старом кордельере», газете Камилла Демулена, пассаж о «подозрительных», вызывавших настороженность Робеспьера и его сторонников, воспроизводит текст Тацита из вводных глав «Истории», но воспроизводит неточно⁵². Парафраз, как видим, сделан не по книге, а по тацитовско-

⁵² У Демулена рассуждение об эпохе Тиберия, Нерона и Домициана. – «Все возбуждало подозрительность тирана. Был ли гражданин популярен, – он являлся соперником государя, способным вызвать междоусобную войну... он подозрителен. Если вы, напротив, избегали популярности – эта уединенная жизнь, обращала на вас внимание, вызывала к вам уважение, – вы подозрительны. Если вы были богаты, – грозила опасность, как бы народ не совратился, благодаря вашим щедротам, – вы подозрительны» (цит. по: Французская Буржуазная Революция 1789–1794. АН СССР. Институт истории. М.; Л., 1941. С. 427–428.). У Тацита («История» I, 2) – «Все вменяется в преступление: знатность, богатство, почетные должности, которые человек занимал или от которых он отказался, и неминуемая гибель вознаграждает добродетель».

му тексту, живущему в памяти, воспринятому как внутреннее переживание, как предвосхищение и истолкование событий, бушующих вокруг автора. Еще один пример, приводимый Демуленом из истории социально-политической борьбы в Риме. – В конце II века до н. э. народный трибун Друз предложил законопроект, по внешним обстоятельствам выгодный для малоимущих граждан, но давший возможность аристократу Сципиону Назике выступить против другого трибуна, Гракха, наиболее стойкого борца за интересы демократии в Риме. В завязавшейся уличной борьбе, пишет Демулен, Назика убил Гракха. Стремясь изобразить положение дел в революционном Париже, Демулен хотел представить смысл и атмосферу происшедшего, но не совсем помнил конкретных людей в Риме: Назика убил Тиберия Гракха, тогда как законопроект Друза был направлен против его брата Гая Гракха.

Атмосфера в Париже 1793 года непрестанно вызывала римские ассоциации – не ученые, а живущие в атмосфере времени, в глубине памяти и подсознания. Такое переживание римских ассоциаций (и, соответственно, римского опыта и римского наследия в целом), явствовавшее из эмоционального и потому не обязательно точного и ученого цитирования латинских источников, было характерно не только для Демулена. В приведенном выше эпизоде с полемикой Луве и Робеспьера последний строил свою защиту целиком на речи Цицерона, однако перепутал при этом Метелла Непота с Клодием⁵³.

В XVI и XVII веках в европейской политике, отраженной в сочинениях авторитетных государствоведов той эпохи, в ряде случаев заимствовавших свои мысли из сочинений римских авторов, естественно воспринималась прежде всего этика и эстетика государственной необходимости. «В последние годы мне довелось много путешествовать по ту или по эту сторону Альп и побывать при дворах королей и великих герцогов. Среди всех многообразных впечатлений особенно поразило меня то, что *Ragione di Stato* (государственная необходимость. – Г.К.) составляет постоянную тему разговоров, а в связи с ней непрестанно приводятся суждения то Николо Макиавелли, то Корнелия Тацита. Первого из-за тех наставлений, которые он дает касатель-

⁵³ В этой связи Зелинский в упомянутой выше работе писал (с. 329): «Вообще складывается впечатление, что Робеспьер целиком живет в 62 году до н. э.: он ссылается на Катона, обращается к Цицерону и т. д.».

но управления народами, второго – из-за яркого описания приемов и способов, которыми Тиберий Цезарь добился власти над Римом и сумел сохранить ее»⁵⁴. Из многообразных примеров того же времени упомянем французского дипломата, писателя и ученого Амело де ля Уссе (Amelot de la Houssaie) как автора книги о римском императоре Тиберии, воспринимавшемся этой эпохой как «великий Политик», политик с большой буквы (Tibère. Discours politiques sur Tacite P. 1686). Книга представляет собой перевод первых, т. е. посвященных Тиберию, книг «Анналов» Тацита, снабженный комментарием Амело, призванным объяснить, как правитель должен пользоваться моральными убеждениями людей для достижения своих целей.

Культурное заимствование начинается с сознательной ориентации на заимствуемый материал, но живет, крепнет и развивается по мере растворения такого заимствования в содержании заимствующей эпохи. Макиавелли знал, что делал, когда в поисках ответа на вопросы, волновавшие его и его время, перечитывал первую декаду Тита Ливия и публиковал результаты такого перечитывания с цитатами и пересказами близко к тексту. Кардиналы, собравшиеся на Тридентский собор, как мы упоминали выше, тоже знали, что делали, заносив в индекс запрещенных книг одновременно Макиавелли и Тацита, чтобы, отведя антично-римские ассоциации как слишком живые и прямые, снять самую проблему, растворив ее в императивах церковно-католического вероучения. Но время шло. Наследие Рима продолжало жить и жить актуально в «Размышлениях о причинах величия и падения римлян» Монтескье или в «Истории упадка и разрушения Римской империи» Гиббона. Всем – в том числе и авторам – было ясно, что целью таких «размышлений» являлись поиски объяснения происходящего вокруг, а опыт Рима все меньше был подлинным предметом исследования и лишь играл роль иллюстрирующей аналогии. Робеспьера меньше всего интересовали мотивы, по которым Цицерон согласился в начале 50-х годов I века до н. э. на защиту Суллы и которые не имели ничего общего с ситуацией самого Робеспьера. Накал борьбы с политическими противниками требовал от Робеспьера единственно найти пассаж, который придал бы его защите

⁵⁴ Botero Giovanni. Della Ragion di Stato libri dieci. Venezia, 1589. Цит. по: Schellhaase K.C. Tacitus in the Renaissance Political Thought. Chicago; London: Chicago Univ. Press. 1976. P. 125.

убедительность, пафос и привычный античный флер. И когда он его нашел (в параграфах 27–28 главы IX Pro Sulla), то ничто остальное интересовало его не могло.

Указанная тенденция может быть прослежена и дальше. Давайте сделаем это на материале искусства в следующем параграфе, а ее происхождение, логику и смысл выясним в связи с общей теорией культурных заимствований в одной из последующих глав. Пока что на просмотренном материале становится очевидным, что в контексте европейской культуры римское наследие претерпевает эволюцию от заимствования реальных величин истории Рима к ассоциациям, продиктованным актуальным положением в Европе в ту или иную эпоху, и, далее, ко все более глубокому их погружению в фактуру, факты и логику европейской культуры в виде ее специфического колорита. В ходе и в итоге этого развития антично-римское наследие все полнее растворяется в истории, менталитете и культуре Европы, становясь ее органической частью – чем менее самостоятельно очерченной, тем более органичной и собственно, внутренне европейской.

Искусство

Искусство и его памятники могут быть проанализированы в пределах данного периода на нескольких показательных примерах. Такими примерами нам послужат сюжет Тита и Береники у Корнелия и Расина и палладианский канон в архитектуре.

Первый описан у Светония в биографиях Тита (VII, 1; X, 2) и Домициана (I, 3; III, 1), у Тацита в «Истории» (II, 2) и у Диона Кассия (67, 3,1). Сводится он, как известно, к тому, что Тит еще в пору его командования в Иудее вступил в связь с иудейской царевной (а затем и царицей) Береникой, а став императором, пригласил ее в Рим, где оказывал ей всяческие знаки особого внимания, истолкованные в обществе как доказательство его намерения на ней жениться. Положение осложнилось тем, что о таком же браке с Титом мечтала Домиция, дочь знаменитого полководца Корбулона, находившаяся в то время замужем за младшим братом императора Домицианом. Тит положил конец этому положению таким образом: уступая общественному мнению и оказывая дань уважения римским традициям, он выслал Беренику как восточную царевну – и именно в этом качестве для

Рима неприемлемую – из Рима, Домиция же стала публично объявлять об отказе от своих претензий на любовь императора.

Сами по себе отношения и лица, описанные Корнелем и Расином, представляли культурно-историческую ситуацию, тождественную той, в которой осмыслялось римское наследие в сфере политики. В обоих случаях исторические процессы в Западной Европе поставили в порядок дня выработку системы ценностей, основанную на сопоставлении ответственности перед личными чувствами и внутренним миром человека, перед его любовью, с одной стороны, и ответственности перед государственным долгом, перед нацией (и в этом смысле – перед народом) и историей, с другой. При этом, однако, в отношениях между римским наследием и европейской реальностью та их *societas*, о которой у нас до сих пор шла речь, выступила совсем по-разному. Теодорих и Карл Великий, Данте и Макиавелли, Юстус Липсий и Ришелье рассматривали, разумеется, Рим в свете своей ситуации и своих интересов, разумеется, вносили – сознательно и/или бессознательно – в нее свои коррективы, но культурно-исторический смысл их обращения к римским примерам предполагал *аналогию* между их временем и античностью. Перед драматургами абсолютистской эпохи стояла задача не государственно-политическая, а художественная. Соответственно, герои классицистических трагедий должны были представлять героев римской истории, вобравшими в себя дух, проблемы и человеческие отношения, актуальные для XVII или XVIII веков, создавать другими словами такое воплощение, которое мы теперь называем *образом*.

Для римлян вообще, а для носителей власти в частности брак и любовь вплоть, по крайней мере, до II века н. э. представляли собой две совершенно разных формы человеческих отношений⁵⁵. Соответственно, сказанное Тацитом как раз о Тите и о его отношениях с

⁵⁵ О браке как долге и форме см. у Авла Гелия (I, 6) и о любви как забвении долга и формы у Сенеки (fr. 2–3. Hieronymus. *Adversus Iovinianum*, lib. I), о деторождении как единственном смысле брака – в эпитамах Ливия (№ 59). Стремление Сальвия Отона, одного из императоров 69 года н. э. (т. е. человека из поколения Тита и входившего в ту же правящую группу), к «соединению брака и любовной страсти» (*adultera matrimonia*) Тацит определил как «обычную для правителей многообразную тягу к сладострастию (*ceterasque regnorum libidines*)» (Hist. I, 22, 1).

Береникой вполне входило в обычное представление о поведении и о привычках римского магистрата: «Эти отношения ни в малейшей мере не мешали ему заниматься [государственными] делами» (*Gerendis rebus nullum ex eo impedimentum* (Hist. II, 2, 1). Вообще то, что в том же пассаже сказано о нравах Тита и его времяпрепровождении, никак не может ассоциироваться с теми *chastes feux* (девственным пламенем любви), как чаще всего обозначалась любовная страсть римских героев в сценической риторике Корнелия или Расина. Перед нами созданный французским поэтом образ римского императора как пример для *honnête homme* времен Людовика XIV, сознательно смещенный по отношению к Титу, каким он выступает реально в римских источниках. Задача состояла не в воссоздании реального римского принцепса I века н. э., а в отклонении от исторической реальности. Сама ситуация, однако, в которой живет и действует такой псевдо-Тит, задается драматургу этими источниками, т. е. остается исторически римской. Такое раздвоение и соединение раздвоенного заставляет нас – пока что предварительно – вдуматься в сам феномен *образа*.

Мир истории, данной нам в культуре и искусстве, соткан из другой материи, нежели мир объективной, так или иначе документированной, эмпирической, общественно-исторической действительности. Образ, создаваемый художником позднейших эпох, отличается от исторической реальности и от нее неотделим, поскольку с ней сюжетно соотносен, но в то же время ее меняет, делает ее другой, ибо воздействует на наше о ней представление. Прошлое, тем самым, дано художнику как взаимодействие былой реальности и современного опыта, в котором такая реальность «вспомнена», в который погружена, которым окрашена и в большой степени сформирована. Переход от аналогии к образу знаменовал поэтому следующий шаг в проникновении римского наследия в культурную традицию Европы, внутреннее, подспудное насыщение европейского искусства и европейского сознания антично-римским материалом. Монолог Тита во II акте трагедии по объективным условиям вполне мог отражать ситуацию, в которой молодой римский принцепс оказался сразу после прихода к власти и после появления Береники в Риме. Но, как показывает внимательное чтение текста монолога, осмысление этой ситуации переведено на язык 1670 года, с характерной оппозицией «долг и страсть», и несет на себе печать специфического ее восприя-

тия в мышлении и общественно-политическом мироощущении Расина, судя по его трагедиям зрелого периода творчества, от «Андромахи» до «Федры».

Представление об амальгаме, в которой выступает в культуре классицизма римское наследие и европейская реальность, подтверждается и другим произведением на эту же тему – написанной в том же 1670 году трагедией Корнеля «Тит и Береника». В обеих пьесах, естественно, один и тот же сюжет и обе они опираются на одинаковый круг источников. Но в этих источниках фигурирует персонаж, который Расину оказался ненужным, а Корнелем выдвинут почти что на первый план, – Домиция Лонгина, невестка Тита – жена его младшего брата и будущего императора Домициана. Используя некоторые намеки в источниках, Корнель представил ее жаждущей развестись с Домицианом и, соединившись с Титом, стать императрицей, опираясь дополнительно на то, что ее отец, полководец Корбулон, был в какой-то момент еще при Нероне провозглашен императором подчиненными ему легионами. С ней в сюжет трагедии вносится мотив бешеного честолюбия и энергии, состязания за власть, интриг вокруг положения правителя империи. Римский материал вводится, таким образом, в общественную атмосферу, ко времени Расина более или менее исчерпанную и ему совершенно чуждую, но составлявшую фон и материал, органически свойственные Корнелю в основной период его творчества, в период «Пертарита» (1652) и, особенно, «Никомеда» (1651) – фон и материал Фронды. Сравнительно с Расином то была во многом другая Франция и другой классицизм, но которые в равной мере искали адекватных себе форм выражения в том же Риме и в той же исторической ситуации, в том же круге образов. Веком позже ситуация повторится. Чтобы наиболее соизмеримо выразить еще одну, совсем другую сторону исторического бытия совсем другой классицистической Франции Мари-Жозеф Шенье обратится все к той же сокровищнице Рима и напишет своего «Гая Гракха».

Как римские истоки духовной традиции Европы в данную культурную эпоху предстают с особой отчетливостью в литературе и, в частности, в драматургии у Корнеля и Расина, так еще более отчетливо выступают они в архитектуре – в частности, в творчестве Андреа Палладио (1508–1580) и в палладианстве последующих столетий. «Ни один мастер до него, – сказано в классической «Истории архи-

тектуры» Гартмана⁵⁶, – не проникал так глубоко в сущность архитектурных произведений древности и ни один не умел с такой суверенной властью, как он, органически сочетать античные формы с духом нового времени». Нам остается только, опираясь на свидетельства самого Палладио и на образцы его творчества, подтвердить, дополнить и развить приведенную характеристику.

Свое капитальное сочинение «Четыре книги об архитектуре» Палладио открывает следующей декларацией. – «Побуждаемый природной склонностью, я отдался с юных лет изучению архитектуры. А так как я всегда был того мнения, что в строительном искусстве, равно как и в других делах, древние римляне далеко превзошли всех, я избрал себе учителем и руководителем Витрувия, единственного писателя древности по этому искусству, принялся исследовать остатки античных построек, дошедших до нас вопреки времени и опустошениям варваров, и, найдя их гораздо более достойными внимания, чем я думал до того, я стал их обмерять во всех подробностях с чрезвычайной точностью и с величайшей старательностью»⁵⁷. Практическое приложение этого принципа вынуждало архитектора постоянно возвращаться к *similitudo temporum*, т. е. ориентировать проектируемые им здания на римские образцы (II. С. 26; IV. С. 7 и 49), хотя эти образцы в деталях, а в ряде случаев и полностью, к его времени были уничтожены «временем и варварами», не существовали, и Палладио их создавал, исходя из описаний Витрувия, из промеренных им осколков и из общего соответствия такого образа римского дома представлениям и вкусам своего времени (II. С. 31 и 71; IV. С. 5 и 16).

Начнем с Виллы Ротонда – признанного шедевра и высшей точки творчества мастера, дополняя анализ материалами других его произ-

⁵⁶ Гартман К.О. История архитектуры. Т. I–II. М.: ОГИЗ – ИЗОГИЗ, 1938; см, в частности, Т. II. С. 49.

⁵⁷ Четыре книги об архитектуре Андреа Палладио / Перев. И.В. Жолтовского. М.: Изд-во Всесоюзной Академии архитектуры, 1938. Номера страниц в этом издании ориентированы на пагинацию оригинала, что крайне затрудняет пользование книгой вообще и ссылки на нее в частности. Соответственно, ниже приходится приводить сначала номер книги по делению Палладио, а затем номер страницы в пределах каждый раз другой, данной, книги по современной пагинации. В настоящем случае: I. С. 13.

ведений. Время проектирования и создания виллы точно не определяется, располагаясь где-то между 1550 и 1570 годами, но бесспорно относясь к периоду наиболее интенсивного творчества, т. е. концентрируя в себе особенно показательные его черты. Черты эти оказываются отчетливо римскими, как бы подтверждая приведенные выше суждения автора об источниках его архитектурного мышления. К ним относятся: так называемый *pronaus*, т. е. вход в здание в виде многоколонного портика; центрально-купольная композиция; так называемые акротерии, т. е. скульптурные фигуры на крыше здания; небольшие квадратные окна в аттике. Черты эти памятниками римской архитектуры свидетельствуются неоднократно. Таковы *pronaus* в почти всех сохранившихся римских храмах; круглый зал в центре здания в Пантеоне и в *domus Augustana* в Риме; акротерии не сохранились, кажется, нигде, но восстанавливаются более или менее во всех компетентных историко-архитектурных реконструкциях, в частности, для дворцов и храмов Форума и для Капитолийского храма; малые квадратные окна в верхнем этаже свидетельствуются, например, в Старой Курии на римском форуме.

И тут сразу же начинаются загадки. Стремясь следовать римским образцам «с чрезвычайной точностью и с величайшей старательностью», Палладио создавал в Вилле Ротонда *свой* Рим, опосредуя археологические реалии духом и вкусом *своего* времени – Европы XVI века. Римские элементы сплошь да рядом так организованы и включены в такой контекст, который был и конкретно, и принципиально невозможен в архитектуре Древнего Рима. Многоколонный портик с фронтоном и архитравом, действительно, представлен в многочисленных храмах в Риме и в городах провинций, но не в таких хозяйственно-увеселительных постройках, как вилла, тем более что в древности подобный портик открывал вход в здание, но совершенно немислимо было его повторение с каждой из четырех его сторон. Купол, накрывавший центральный зал, занимал свое место в окружающей городской застройке, но не был спланирован так, чтобы перекликнуться с окружающими холмами, вписывая виллу в природный пейзаж. Статуи на кровле и на пандусах при входах изваяны были не самим Палладио, а заказывались разным скульпторам (одного из них – Лоренцо Вичентинца – Палладио называет по имени). Скульпторы исходили из эстетической программы своей школы и своего времени, создавая

произведения, отчетливо барочного, а отнюдь не антично-римского облика. Тем более такое впечатление как бы задавалось посетителю и зрителю расположением статуй на пандусах, где их было легко рассмотреть и воспринять в рамках определенного культурно-эстетического типа. Как бы ни выглядели в древности малые квадратные окна в верхней части стены здания они, по-видимому, воспринимались в виде определенной дани римской архаике и выглядели всегда просто и незатейливо. (Ср. Старую Курию в Риме⁵⁸, или дома Триклиниев и Дианы и Эпагатиево зернохранилище в Остии.) В Вилле Ротонда их контраст с богатой орнаментикой под ними расположенных больших окон не оставлял места ни для каких подобных римских ассоциаций.

С этой точки зрения Вилла Ротонда не образует исключения в творчестве Палладио, а, напротив того, в концентрированном виде выражает сквозную его тенденцию. Так, один из излюбленных его приемов составляют «муфтированные» колонны, т. е. ствол каждой из них на протяжении своей высоты несколько раз охвачен как бы широким каменным кольцом. В наиболее ясном виде эта техника представлена в Палаццо Антонини или на пилястрах боковых входов виллы Тьене. В памятниках древней архитектуры в городах античной Италии и в самом Риме этот эффект не существовал: колонны составлялись из круглых барабанов обточенного камня, которые ставились один на другой, скреплялись особым раствором, так что образовывали единую вертикаль. Шов между такими барабанами был виден, но нигде не подчеркивался, никакие «кольца» не возникали, как это видно и сегодня, например, на опорах Porta Маджиоре в Риме. Принцип оставался все тем же: римский материал содержал исходный импульс, дело архитектора XVI века состояло во введении этого импульса в его антично-римской узнаваемости в современную систему. Еще один пример. Порттики на втором этаже фигурируют в постройках Палладио многократно. В римскую эпоху они также встречались. Таков, например, многоколонный портик, образующий второй этаж одного из зданий по правой стороне улицы Изобилия в Помпеях, таковы же надвратные порттики над аркой Адриана в Афинах или в го-

⁵⁸ Она, как известно, сгорела в 283 году н. э., но была почти тут же восстановлена Диоклетианом. Нет оснований сомневаться, что восстановление было точно ориентировано на древнюю курию, оставшуюся у всех в памяти.

родских стенах некоторых городов Италии и провинций. Но перечисленных сооружений Палладио, скорее всего, видеть не мог и все так же исходил главным образом из представленного в воображении и пережитого образа архитектуры Рима, соответствовавшего вкусам его эпохи. Недаром в исследовательской литературе за ним закрепилось наименование: «архитектор между ренессансом и барокко»⁵⁹.

Нам пришлось столь подробно остановиться на творчестве Палладио не только потому, что в нем наглядно ощутимо сохранение римского наследия в культуре Европы, но и в силу еще одной черты этого наследия – его открытости в будущее, постоянное, откровенное или прикровенное, присутствие его в культуре последующих столетий. Непосредственно оно воплощено в расширительном историко-архитектурном понятии «палладианства» (или «неопалладианства»). Сочетание типичных для Палладио мотивов и общего облика возводимых зданий выступает в особенно концентрированном виде уже в конце XVIII – начале XIX века в Англии, отчасти в Германии и в России⁶⁰; затем – в начале XX столетия⁶¹, но наиболее показательным образом еще раньше – в первой половине XIX столетия. Говоря о «наиболее показательном» проявлении палладианства в эту эпоху, мы имеем в виду, что оно предстает здесь не только в собственно Палладиевых формах, но и растворившись в общем классицизме эпохи,

⁵⁹ Ср.: *Wundram M., Pape T. Fotografie Paolo Marton. Andrea Palladio 1508–1580. Architekt zwischen Renaissance und Barock. Köln: Taschen Verlag, 1988.*

⁶⁰ Когда речь идет об Англии, прежде всего приходится упоминать Уильяма Чемберса (1727–1796) – автора чисто палладианского правительственного дворца Сомерсет Хаус в Лондоне, с его рустованным цоколем и трехчетвертными колоннами в верхнем этаже; в Германии – королевскую колоннаду в Берлине (архитектор Гонтард, 1736–1802), в России – хотя бы городскую усадьбу Баташевых в Москве (1804).

⁶¹ Для первых лет XX века «важно уловить те принципиальные отличия в прочтении палладианских прообразов, которые были характерны для каждой европейской страны. В русском палладианстве как в фокусе преломились эти разнообразные приемы. Оно переплავило в себе не только образы Палладио, но и те их воплощения, которые сложились, прежде всего, в английском и французском зодчестве, сделав иногда на первый взгляд неузнаваемыми палладианские схемы». *Борисова Е. Некоторые особенности неопалладианства в России 1910-х годов // Судьбы неоклассицизма в XX веке. М.: Гос. ин-т искусствознания, 1997. С. 50.*

который здесь, как всегда, нес в себе ощущение нормативного присутствия антично-римского канона.

Но ведь именно в XIX веке и острее всего во второй его четверти Европа переживает полную метаморфозу своих материально-производственных, общественно-политических, идеологических и культурно-художественных параметров, всего культурно-идеологического климата. Прошедший переворот не столько даже предполагал, сколько требовал, радикального отказа от всего античного, а тем более, римского. Упорное – пусть в своеобразных формах – сохранение этого канона, вопреки тому производственному, политическому и культурному перевороту, который был направлен против него, требует доказательств и объяснений.

XIX–XX века.

Призрак бродит по Европе

Взгляд извне открывает в явлении те глубинные его стороны, которые при взгляде изнутри видны субъективно окрашенными, т. е. более смутными и искаженными. Так, сочинения Тита Ливия и Тацита дают нам так много объективного материала по истории и культуре Рима не в последнюю очередь потому, что ни тот, ни другой не были римлянами в прямом и непосредственном смысле слова, т. е. в какой-то мере смотрели извне. Если речь идет об антично-римском наследии Европы, ситуация повторяется: в частности, *рубеж, отделяющий XIX – начало XX века от всего предшествующего развития*, раскрылся на взгляд из России в большей полноте своего смысла, нежели из самой Западной Европы.

Значение первостепенного источника имеет здесь статья Ивана Киреевского 1831 года «Деятельный век». Вот несколько выписок из нее, последовательно ведущих к раскрытию культурно-исторического смысла указанного рубежа. «Новым опытом в жизни девятнадцатого века были события последних лет. Я говорю не о политике. Но в литературе, в обществе, в борьбе религиозных партий, в волнениях философских мнений – одним словом в целом нравственном быте просвещенной Европы заметно присутствие какого-то нового, какого-то недавнего убеждения.»⁶² Это новое убеждение предполагает

⁶² Киреевский И.В. Избранные статьи. М.: Современник, 1984. С. 62.

жет освобождение от философски-исторического и образно-поэтического характера предшествующего культурного развития, которое было связано, в частности, с римским наследием. «Уже несомненно, что во все продолжение средних, так называемых варварских веков римские законы, римское устройство, разнообразно измененные, иногда смешанно, иногда чисто, но всегда очевидно, существовали во всех местах Европы, куда прежде простиралось римское владычество. Эти законы, эти устройства, примешиваясь к обычаям варваров, естественно, должны были способствовать к их образованию и действовать на их гражданский быт»⁶³. Только теперь, во второй четверти XIX столетия, выявилась противоречивая связь этих «разнообразно измененных римских законов и римского устройства» с особым содержанием происшедшего и отмеченного Киреевским переворота: сопротивление этих законов и этого устройства переориентации «нравственного быта просвещенной Европы» на проблемы сегодняшней жизни – практической и личной, лично-религиозной, трудовой, частной, повседневно-бытовой. «Главный характер просвещения в Европе был прежде попеременно поэтический, исторический, художественный, философический и только в наше время мог образоваться чисто *практическим* (курсив Киреевского. – Г.К.). Человек нашего времени уже не смотрит на жизнь как на простое условие развития духовного, но видит в ней вместе и средство, и цель бытия, вершину и корень всех отраслей умственного и сердечного просвещения. Ибо жизнь явилась ему существом разумным и мыслящим, способным понимать его и отвечать ему»⁶⁴.

Киреевский подчеркивает, что переворот, им описанный, охватывает, прежде всего, Западную Европу. Такой подход связан с источником, который лежал в основе его анализа (по крайней мере, в первой его части). Таким источником, судя по всему, была для него книга Гизо «История цивилизации в Европе». Несколько выписок в сопоставлении с приведенными тезисами Киреевского подтверждают сказанное. «Расположение умов сегодня подтверждает, что со всех сторон ощущается явный вкус, я бы даже сказал преимущественное внимание к фактам, к практическим интересам, к положительным сторонам че-

⁶³ Там же. С. 72–73.

⁶⁴ Там же. С. 70.

ловеческой деятельности». «Современное состояние мира заставляет нас откровенно признать неизбежность взаимодействия философии и истории. Именно оно составляет существеннейшую черту нашей эпохи. Время требует от нас понять это взаимодействие, понять единовременное и связанное движение естественных наук и окружающей действительности, теории и практики, права и факта»⁶⁵. Тогда, в 1830 году, книга Гизо только что вышла во Франции, только что, соответственно, появилась в Москве и, сразу прочитанная Киреевским, дала ему возможность воспринять процессы, там описанные, как не столько русские, сколько универсальные, общеевропейские⁶⁶.

И внутренняя суть, и внешние проявления обнаруженного переворота состояли, как ныне известно и принято считать, в капитализации производства и производственных отношений, в вовлечении в них широких масс, в осознании интересов последних и в появлении идеологий, в той или иной мере направленных на учет этих интересов, в возникновении гражданского общества и рождении его спутника – парламентской демократии и политических партий, представлявших те или иные социальные классы, в наиболее общем выражении всех этих процессов в производственном, политическом и культурном понятии *прогресса*, впервые представшем как высшая общественная ценность. Перераспределение ролей различных общественных сил привело, с одной стороны, к *социально-классовому многообразию* общественной жизни не только «в-себе», но и «для-себя», с другой – к выдвиганию на первый план не только производственной, но также духовной, культурной и художественно-эстетической системы, постарому связывавшейся с именем третьего сословия. Оно принесло с собой те добродетели, которые со времен Дидро стали называться «буржуазными» (а чем дальше, тем больше и «мещанскими») и которые вскоре распространились на большую часть общества, создав некоторый его общий тон – *частное существование как объект*

⁶⁵ Приведенные цитаты даны по изданию: Histoire de la civilisation en Europe depuis la chute de l'Empire Romain jusqu'à la Révolution française par M. Guizot. Dixième édition. Paris, 1868. P. 95–96.

⁶⁶ Связь статьи Киреевского с книгой Гизо констатирована в едва ли не лучшем современном исследовании об Иване Киреевском. – Müller Eberhard. Russischer Intellekt in europäischer Krise. Ivan V. Kireevskij (1806-1856). Köln; Graz, 1966. S. 99.

художественной и общественно-философской рефлексии. Оно в принципе предполагало в качестве специфических ценностей моральную взыскательность, труд, честность, среднюю, но обеспечивающую себя зажиточность и их обертональные проявления – приличие, уют, «штатскость», иногда, но не слишком – образованность. Словом это были – Давид Сешар у Бальзака и старшие Будденброки у Томаса Манна, а глядя из России – семья Розелли в «Вешних водах» Тургенева. Сюда же относится и *реализм в искусстве*. Вряд ли возможно представить себе общественно-историческую и культурно-идеологическую систему, более противоположную общественной системе античного Рима и столь полно исключавшую для европейского сознания любую *similitudo temporum*.

Исчезновение – или радикальное видоизменение – ее протекало в нескольких формах: и в теоретической интроспекции (преимущественно в России), и в формах практических и публицистических (преимущественно в Западной Европе). Что касается России, то важным источником явились здесь, в частности, сборники «Пропилеи» (пять номеров за 1851–1856 годы) и публикации в нем Т.Н. Грановского. В третьей и пятой книжках сборника была помещена обширная рецензия Грановского на незадолго перед тем изданные лекции по римской истории Нибура. Главная ее мысль состояла в том, что каждая эпоха, в том числе и античность, занимает в истории свое, общим ходом развития обусловленное место, и задача состоит в понимании ее не на основе эстетической или нравственной близости ее общего облика к современности, а на основе трезвого и объективного научного исследования. Продолжением и развитием этих мыслей явилась опубликованная в сентябре 1856 года статья Грановского «Ослабление классического образования в гимназиях и неизбежные последствия этой системы»⁶⁷. В прослеживаемой нами эволюции здесь поставлена финальная точка: античный мир представляет собой – по словам Грановского – законченный цикл исторического развития и в этом смысле «труп». Его призван изучать историк-анатом, «ищущий в истории таких же законов, каким подчинена природа». От поэтов и государственных деятелей, от художников и драматургов эстафета переходит отныне к выдающимся ученым специалистам, к универ-

⁶⁷ См.: История европейской цивилизации в русской науке. Античное наследие. М., 1991. С. 193–205.

ситетским профессорам. Научной специальностью Грановского было западноевропейское средневековье, он постоянно им занимался, знакомясь с текущей литературой. Формулируя свой диагноз, он исходил из состояния западной науки. Взгляд его, соответственно, подтверждается и иллюстрируется развитием западной науки XIX и вплоть до середины XX веков, посвященной Древнему Риму, – от Нибура через Моммзена и его школу к Вилламовицу, от Фюстель де Куланжа к Дюмезилю и Клоду Николе, от Гиббона до Сайма и Шервин-Уайта.

Не менее показательны, как античные мотивы переходят с литературы и искусства на декоративные детали частной жизни. Античность уже не почва и атмосфера культуры, не канон и не стиль, а стилизация. В России этот процесс выступает хотя бы в восстановлении мебели в Зимнем дворце после пожара 1837 года и в архитектурном решении усадьбы С.С. Уварова Поречье 1830 года. В первом случае имеется в виду восстановление обстановки с накладками из золоченой бронзы, столь характерной для Древнего Рима начала новой эры и, соответственно, для мебели позднего классицизма и ампира. В 1830-е годы и эта мода, и порождавшая ее атмосфера становились архаичными и быстро исчезали, уступая место уюту, как особой ценности частной жизни. Он никак не сочетался с античным каноном оформления материально-пространственной среды, и Николай I это чувствовал, судя хотя бы по одобренному им проекту так называемого Никольского домика для него и его семьи – домика, представлявшего собой своеобразную вариацию на тему избы-дачи⁶⁸. Сходная задача была поставлена и перед Жиллярди, проектировавшим Поречье, – связать в одном здании художественный музей, рассчитанный на экспонирование античных (или антикизирующих) древностей, и соединенные между собой комфортные комнаты, почти квартиры, приспособленные к привычкам и вкусам современной семьи⁶⁹.

Западный материал соответствует атмосфере эпохи, нашедшей себе отражение в материале русском. Если Николай I искал возможности отдохнуть от государственно-парадного классицизма в своих загородных домах, почти шале, то его современник Луи-Филипп по-

⁶⁸ См.: Пунин А.Л. Архитектура Петербурга середины XIX века. Лен.-издат, 1990. С. 60–62.).

⁶⁹ Каждан Т.П. Художественный мир русской усадьбы. М.: Традиция, 1997. С. 95–107.

шел в этом направлении значительно дальше, прославившись своим пресловутым зонтиком и манерами буржуа. Даже Наполеон, как отмечается в мемуарах и исследованиях, нередко чувствовал потребность «стать самим собой», другими словами – сбросить с себя ампирно-классицистическую мантию⁷⁰. В этом смысле он вполне следовал вкусам и стилю своего времени, с которыми он как император меньше всего хотел ассоциироваться⁷¹.

Рубеж в отношении к антично-римскому наследию и неприятие такового предстал в Европе особенно остро в шаржах и карикатурах на античные темы, заполонивших западную прессу в середине XIX века. Они соответствовали муссированию той же темы в литературе. Ироническое разоблачение греко-римских реминисценций и отзвуков как изживаемых форм культуры шло заодно с общей перестройкой европейской цивилизации и выражало существенную ее сторону.

С 1830-х и вплоть до 1870-х годов в Германии, во Франции и, особенно, в Англии пародийная античность становится относительно устойчивым мотивом сатирических журналов и комической литературы. Мотив этот утверждается далеко не сразу и становится господствующим лишь, в конечном счете, под давлением развивающейся в определенную сторону общественной атмосферы. Возвращаясь к античному наследию, культура испытывает все больший соблазн поверить окружающему обществу и увидеть в античных образах в лучшем случае стародедовский хлам, а в худшем – карикатуры. Таково стихотворение Гейне «Бог Аполлон» (1851), где в дожившего до наших дней Аполлона влюбляется монашка, пока встречный старый еврей не рассказывает ей об этом хорошо ему известном малом, бывшем канторе амстердамской синагоги, который некогда действительно был бог, но теперь стал картежником и бродячим комедиантом. Вакх стал настоятелем монастыря в Тироле, но все-таки раз в году

⁷⁰ von Boehn Max. *Das Empire. Die Zeit. Das Leben. Der Stil*. Berlin, 1925. В первую очередь, S. 140–154, но и passim.

⁷¹ См. в названной выше книге заключительный раздел. Воспроизведенные здесь карикатуры наполеоновского времени очень ясно отражают тенденцию общества описываемой эпохи, с одной стороны, ценить и считать современным все обывательски-буржуазное, с другой – противопоставлять его старомодным туалетам ancien régime.

вырывается на настоящую вакханалию. Хуже всех пришлось Зевсу. Он живет в хижине где-то на севере, скорее всего, в Ирландии, и пает ошипанную птицу, в которой с трудом можно узнать его знаменитого орла⁷².

Из того же настроения несколькими годами позже во Франции возникли оперетты Оффенбаха «Орфей в аду» (1858) и «Прекрасная Елена» (1864). В последней пародируется гомеровский сюжет троянского цикла, где особенно умилительно выглядят два незадачливых жреца, оставшихся безработными после закрытия храма Марса. Можно упомянуть и о появившейся в России карикатуре на оперы композитора «Могучей кучки» Цезаря Кюи, которые не пользовались успехом у публики. Карикатурист изобразил ряд фигур в римских тогах, на каждой – название соответствующей оперы Кюи и подпись: «Ave, Caesar, morituri te salutant» («Прощай, Цезарь, обреченные на смерть приветствуют тебя!») – приветствие римских гладиаторов, проходящих на арену перед императорской ложей, здесь звучащее мрачно иронически.).

Но едва ли не самая развернутая и яростная серия пародий на римскую античность появилась в лондонской прессе 1830-х – 1870-х годов⁷³. Дело в том, что название Темзы, на которой стоит Лондон, упомянул впервые в письменной традиции Юлий Цезарь (О галльской войне V, 11, 8). В эпоху классицизма английская аристократия любила подчеркивать это обстоятельство и весьма им гордилась; в XIX же веке оно стало предметом демократической критики в связи с нехваткой воды в Лондоне и использованием пролетарским населением сточных зараженных вод. В прессе замелькали изображения Нептуна с кубком в руке, угощающего лондонских бедняков зловонной водой из Темзы с латинской надписью *Salus populi suprema lex* (Здоровье на-

⁷² Обзор и анализ относящегося к теме материала см.: *Гиждеу С.П.* Травестийная античность Гейне // Античность в культуре и искусстве последующих веков. ГМИИ им. Пушкина. Материалы научной конференции 1982. М.: Советский художник, 1984. С. 196–203.

⁷³ Материал, сюда относящийся, и его анализ, кажется впервые, были представлены с такой полнотой совсем недавно в работе: *Shelley Wood Cordulack – Victorian Caricature and Classicism: Picturing the London Water Crisis // International Journal of the Classical Tradition. 2003. Vol. 9, No 4. P. 535–583.*

рода – высший закон), изображения Темзы, обозначенной как Слюаса Махіма, или Нептуна, тонущего в волнах нечистот, изливаемых в Темзу. Латинские надписи и античные сюжеты еще внятны, еще читаются, но только для того, чтобы составить издевательский контраст к реальности середины XIX века.

Рубеж пролегал и осознавался бесспорно, т. е. бесспорно *был*. И, тем не менее, исчезновение античного наследия из атмосферы XIX века не было ни полным, ни бесспорным. Все яснее вырисовывается представление, согласно которому перед нами не отказ от воспоминаний об античном Риме во имя цивилизации, установившейся с XIX веком, а как бы два русла культуры. Одно – господствующее, связанное с созданием нового, отличного от прежнего, государства и миропорядка и соответствующей им идеологии, с рождением идеи социализма и/или народности, с позитивизмом в философии и реализмом в искусстве; и другое – связанное с переживанием антично-римского наследия в совершенно новом для него духе. Уйти оно из атмосферы и культуры не могло и продолжало бродить по Европе, хотя бы в виде впечатляющего призрака, подтверждая, что европейская цивилизация и в эту эпоху оказалась не в состоянии порвать связующую нить и что Рим – колыбель Европы.

Начнем, как и в предыдущих случаях, с России.

Особое место в прочерчиваемой эволюции, придется отвести Пушкину. Гениальный художник и мыслитель, он не укладывается в постепенно вырисовывающуюся схему культурно-исторического наследия Рима в России, но столь же естественно не может остаться вне такой схемы – от открывающего его творчество парафраза Третьей сатиры Ювенала («К Лицинию», 1815) до поэтического завещания («Я памятник себе воздвиг...», 1836), это творчество завершающего. Три поэта, сопровождающих его на протяжении практически всей жизни, это три римлянина: Вергилий, Гораций и Овидий, – вспоминающихся Пушкину вместе со всем шлейфом истолкований и ассоциаций, связавшихся с ними в истории культуры и поэзии. Тациту посвящена отдельная статья Пушкина, связанная с коренным для него вопросом о соотношении государственной необходимости и личного нравственного сознания («Замечания на “Анналы” Тацита», 1826), а также относящиеся к этому реминисценции из Тацита в «Борисе Годунове». В последние годы жизни, среди сгущающихся вокруг не-

го трагических теней, он постоянно обращается к антично-римским образам: каждое четвертое произведение, начатое им между 1833 и 1837 годами, связано с античностью⁷⁴.

Знаменит и прекрасен образ Петербурга, встающий из вступления к «Медному всаднику». Он обращен к истории и воплощает Россию.

Красуйся град Петров и стой
Неколебимо, как Россия.

Соответственно, в нем были бы неуместны конкретные историко-архитектурные справки и детали с указанием на античные мотивы и образы. Менее знаменит текст, который Пушкин широко использовал, создавая свое «Вступление». Им явился очерк К.Н. Батюшкова «Прогулка в Академию художеств», написанный в 1814 году, с подзаголовком «Письмо старого московского жителя к приятелю в деревню его Н.»⁷⁵. Подзаголовок существенен: он выводит образ и славу описанного города за рамки официальной столицы как таковой, связывая его и с Москвой, и с поместью-деревенскими владениями, разбросанными по России. Автор был свободен в решении своей задачи и описал образы, укорененные в традиции культуры и в деятельности российских монархов. «Прекрасное наследие древности, драгоценные остатки, которые яснее всех историков свидетельствуют о просвещении древних; в них-то искусство есть, так сказать, отголосок глубоких познаний природы, страстей и человеческого сердца». Речь идет о залах Академии художеств, где собраны слепки «с неподражаемых произведений резца у греков и римлян», – Академии, как подчеркивает Батюшков, построенной Екатериной и вписанной в ансамбль, в котором торжествует дух, созданный ее предшественниками и приемниками. – «Хвала и честь великому основателю сего города! Хвала и честь его преемникам, которые довершили, едва начатое им среди войн, внутренних и внешних раздоров. Хвала и честь Александру, который более всех, в течение своего царствования, украсил столицу Севера!». Тут же Батюшков напоминает о тех сооружениях, которы-

⁷⁴ Более подробно см.: *Кнабе Г.С.* Русская античность. М.: РГГУ, 1999. С. 145–152.

⁷⁵ *Батюшков Константин.* Избранная проза. М.: Советская Россия, 1987.

ми, по его словам, украшена столица России и которыми ознаменовано именно правление Александра: спуск Васильевского острова, ростры, Биржа, раскат лестницы, к ней ведущей, – все сплошь воссоздание антично-римских образцов.

Наконец, для полноты антично-римских реминисценций, характерных для первых двух десятилетий XIX века, надо упомянуть о стилистике интерьеров этой эпохи. Ключевым текстом, ставшим весьма распространенным в искусствоведческой литературе последнего времени, здесь является характеристика убранства комнат в особняках. – «Везде показались алебастровые вазы, с иссеченными митологическими изображениями, курительницы и столики в виде треножников, курульные кресла, длинные кушетки, где руки упирались на орлов, грифонов или сфинксов. <...> Все это пришло к нам не ранее 1805 года, и, по-моему, в этом роде ничего лучшего придумать невозможно. Могли ли жители окрестностей Везувия вообразить себе, что через полторы тысячи лет из их могил весь их быт вдруг перейдет в Гиперборейские страны?»⁷⁶.

В ту же эпоху римски драпированная государственная официальность не может исчерпать внутренний мир Александра I – монарха, становящегося все более сложным и «человеческим» и потому контрастирующим, например, с вполне классицистически римским бюстом императора, изваянным Торвальдсеном (и императором, вполне очевидно, одобренным). Так было в известном смысле с Николаем, так же было и так же в известном (хотя и в другом) смысле с Александром с его интересом к мистике, со все большим расхождением между очевидной политической линией и от нее отличными внутренними переживаниями, с его до сих пор непроявленным уходом от власти⁷⁷.

Тот же контрапункт сохраняется на протяжении следующего столетия.

Николай I действительно любил свои шале и действительно создал и в семье, и в дворцовом окружении тон и стиль, отличавшийся от тона и стиля предшествующих царствований своей неофициально-

⁷⁶ Записки Филиппа Филипповича Вигеля. Ч. 2. М., 1892. С. 40.

⁷⁷ См.: *Барятинский В.В.* Царственный мистик (Император Александр I – Федор Кузьмич). СПб.: Изд-во «Прометей» Н.Н. Михайлова, 1912; репринт: Л.: Изд-во «Сказ», 1990.

стью (точнее, неполной официальностью) и доверительностью⁷⁸. При этом, однако, центр столицы никогда ранее не принимал столь антично-римского облика, как при Николае, завершившего классицистическую стилизацию, начатую еще Екатериной и продолженную Александром в виде чисто римских памятников вроде Александровской колонны и арки Генерального штаба и вплоть до ампирного здания Сената и Синода. Архитектурой дело не исчерпывалось. Если не революционно, то прогрессивно и народно-демократически настроенные современники ощущали «римлянство» как стиль эпохи, как стиль чуждого им правления и всячески его дискредитировали:

...И дикий царь в античной каске
И в каске дикий генерал,
Квартальный, князь, фурьер придворный
Все в касках мчались наповал;
Все римляне, народ задорный;
Их жизни жизнь, их цель, их честь
Простого смертного заесть.⁷⁹

Следующий этап в движении антично-римской темы в России связан с реформой гимназического образования, проведенной графом Д.А. Толстым в 1870-е годы. Общий их очерк подтверждает принятый на них взгляд как на меры, принимавшиеся правительством с целью укрепить основы монархической государственности и не дать российскому гимназическому юношеству доступ к знанию, в первую очередь практическому и материалистически естественно-математическому, к развитию самостоятельного мышления. Для такой оценки «толстовского классицизма» в том виде, в каком он был задуман, а в определенной мере и осуществлен его инициаторами, есть много оснований. Одно из таких оснований связано, как ни странно, с местом латинского языка в «толстовских» гимназических учебных планах.

⁷⁸ См., в первую очередь, мемуары А.Ф. Тютчевой, дочери поэта. – *Тютчева А.Ф. При дворе двух императоров. Воспоминания. Дневник. 1853–1882.* Тула, Приокское книжное изд-во, 1990.

⁷⁹ *Огарев Н.П.* Матвей Радаев. Поэма, гл. 2 // *Огарев Н.П. Избранные произведения.* Т. 2. М.: Художественная литература, 1956. С. 241–242. О римски-классицистическом облике, который принимал к николаевскому времени Петербург и губернские города, см. более подробно: *Кнабе Г.С.* Русская античность. М.: РГГУ, 1999.

Несмотря на официально-монархические разоблачения всего римского в связи с идеологией Французской революции и ее «античным маскарадом», несмотря на уходящую корнями в XVIII век официальную идеологию русского самодержавия, согласно которой православие продолжало греческую святоотеческую традицию и в этом смысле противостояло традиции римско-католической⁸⁰, укоренившийся в правящих кругах взгляд на империю Рима как на универсальный эталон императорского правления, тем не менее, продолжал существовать и оказывать свое влияние. Скорее всего, именно им объясняется странная асимметрия в толстовских учебных планах между числом часов на латинский язык и на каждый из остальных предметов; первое постоянно, а подчас и вдвое, превосходило последние. В истории педагогики сложился взгляд, по-видимому, вполне справедливый, что «классицизм стал своего рода идейной программой консервативно-охранительного лагеря российской обществуности потому, что воспринимался в среде “истинных патриотов” как *символ имперской государственности* (курсив автора. – Г.К.). В этом, в частности, причина того, что греческий язык, как язык Древней Византии, который с точки зрения Каткова и его единомышленников по идее должен был бы иметь большую ценность, так и не был уравнен с латинским. Идеал императорского Рима казался более притягательным искренним государственным, многие из которых, выступая страстными поборниками православия, видели в религии лишь инструмент восстановления (или, по крайней мере, сохранения) начавшей разваливаться империи»⁸¹.

Но помимо этих своеобразных доказательств сохранения в России 1870-х годов «призрака Рима», с толстовской реформой связано и еще одно обстоятельство, где такая связь проявляется гораздо прямее в общем развитии культуры. Совсем иной классицизм обозначился с этого же времени в начавших распространяться частных гимнази-

⁸⁰ Гаспаров Б. Русская Греция, Русский Рим // Christianity and the Eastern Slavs. Vol. II: Russian Culture in Modern Times. Berkley; Los Angeles; London. 1994. P. 245–287; Зорин А.Л. Кормя двуглавого орла. М.: НЛЮ, 2001. См. главу «Русские как греки», в первую очередь, с. 37–61.

⁸¹ Носов А.А. К истории классического образования в России // Античное наследие в культуре России. М., 1995. С. 217–218. См. также сопоставительные таблицы распределения недельных учебных часов на с. 215.

ях – Поливанова, Креймана и Фишер в Москве, Мая в Петербурге, и в некоторых других городах. Влияние их не могло не сказываться в той или иной мере и на «толстовских» казенных учебных заведениях. «Можно с уверенностью утверждать, что известный культурный ренессанс “серебряного века” не состоялся бы, если бы не система классического образования. Деятели искусства этого периода в подавляющем большинстве прошли через классическую, в большей мере именно “толстовскую”, гимназию и вышли оттуда, неплохо владея двумя древними языками, и богатства античной культуры были доступны им в подлинниках»⁸².

Здесь весьма точно указан один из источников нового подъема интереса к античной образованности и к античному материалу в русской культуре трех последних предреволюционных десятилетий⁸³. Помимо общефилософских построений Вячеслава Иванова, оказавших самое широкое влияние на духовную жизнь этих лет и опирающихся на древнегреческие источники⁸⁴, в ней отчетливо обрисовывался римско-итальянский след – Муратов, Чичерин, Кузьмин, Эрн, Гревс и значительная часть интеллигенции их поколения⁸⁵. Знаменательную дань этому умонастроению отдал, уходя из жизни, и сам Иванов.

Вновь, арок древних верный пилигрим,
В мой поздний час вечерним “Ave, Roma”
Приветствую, как свод родного дома,
Тебя, скитаний пристань, вечный Рим.⁸⁶

Говоря о дальнейших судьбах антично-римского наследия в России, наверное, можно опустить анализ неоклассической архитектуры

⁸² Носов А.А. Указ. соч. С. 228.

⁸³ Кнабе Г.С. Русская античность... С. 211–225.

⁸⁴ Имеется в виду в первую очередь: *Иванов Вяч.* Ницше и Дионис // *Иванов Вяч.* Родное и вселенское. М., 1994.

⁸⁵ Широта этого круга и интенсивность интересов мыслителей, в него входящих, явствует, в частности, из недавно опубликованной переписки И.М. Гревса и Вяч. Иванова: *История и поэзия / Издание текстов, исследование и комментарии Г.М. Бонгард-Левина, Н.В. Котрелева, Е.В. Ляпустиной.* М.: Росспэн, 2006.

⁸⁶ Римские сонеты 1 // *Русский сонет. XVIII – начало XX века.* М: Московский рабочий, 1983. С. 325.

1900–1917 годов. Она, во-первых, хорошо освещена в некоторых основополагающих исследованиях⁸⁷. Римские контуры в архитектуре этой эпохи, во-вторых, часто предстают сильно размытыми ориентацией авторов не столько на античный Рим или даже на Палладио, сколько на екатерининско-александровскую классику пушкинской эпохи в целом как на элегически вспоминаемый золотой век русской культуры⁸⁸.

Важнее заключить этот обзор тем, как в последний раз откликнулась антично-римская тема в послереволюционной советской действительности. В первые, двадцатые, годы революция потребовала от искусства прежде всего народности, а в бунтарски-громогласно-освободительном порядке – левизны. Ни в том, ни в другом случае места рабовладельческому Риму и античности, как таковой, разумеется, не оставалось. Положение изменилось в середине 1930-х годов, когда в качестве главной ценности стала определяться социалистическая государственность и неотделимое от нее политико-моральное единство советского народа. Воплощением идеологических параметров в массово доступной и непосредственно переживаемой форме стала архитектура – архитектура, впоследствии и вплоть до нашего времени получившая не терминологическое, а, насколько можно судить, массово-просторечное название «сталинского ампира». Именно она наиболее полно воплотила в своем облике актуальные для этих лет идеалы социалистической государственности – масштаб, преемственность к российской государственной традиции, понятой *уже* как русский патриотизм, но *еще* как вневременная классика, массивность, импозантность, красота традиционная и очевидная, не оставляющая места для субъективной критики. Архитектура Римской империи с ее тиражируемостью городских центров и их архитектуры предоставляла для этого, если не самые точные, то самые расхожие ассоциации. Не Рим с его эллински изящными храмами эпохи Августа, не Рим Флавиев с массивной плебейско-римской тяжестью форумных стен, а Рим как таковой, как обобщенный образ, как подлежа-

⁸⁷ До сих пор сохраняют все свое основное историко-культурное значение книги: *Лукомский Г.К.* Современный Петербург, 2-е изд. 1917; *Анциферов Н.П.* Непостижимый город. Л., 1991 (первое издание – 1922).

⁸⁸ Ср.: *Лихачев Д.С.* Небесная линия города на Неве // Наше наследие. 1989. № 1. С. 13 (в первую очередь).

щая востребованию и утверждению классика в виде единства народа, гражданина и государства.

«Общественные и утилитарные сооружения Древнего Рима по своему масштабу и художественному качеству – единственное явление этого рода во всей мировой архитектуре. В этой области непосредственными преемниками Рима являемся только мы, только в социалистическом обществе и при социалистической технике возможно строительство в еще больших масштабах и еще большего художественного совершенства»⁸⁹.

Определившиеся здесь черты «нового классицизма» XIX–XX веков в России воспроизводятся в тот же период в культурно-историческом развитии Западной Европы. К ним относятся: иссякание роли антично-римского классицизма как основы и образа культуры; сохранение при этом антично-римского элемента как составной части культуры; видоизменение этого элемента в процессе встраивания его в современную культуру; сохранение его образом своего бывшего нормативного смысла.

Теперь можно вернуться в Западную Европу начала XIX столетия. Общественная и культурная атмосфера, установившаяся в Германии после Венского конгресса и длившаяся в своих наиболее типичных проявлениях до 1848 года, а в проявлениях более растворенных в исторической практике до конца века и до Jugendstil'я, существенно отличалась от того, что происходило в ту же эпоху в других странах. Специфика Германии состояла, в частности, в том, что противоречие консервативно-аристократического и прогрессивно-капиталистического (или, alias, буржуазного) начал не исчерпывалось своим социально-экономическим и/или политико-идеологическим содержанием, но разворачивалось на фоне, казалось бы, прямого отноше-

⁸⁹ Из речи А.В. Щусева на I Всесоюзном съезде советских архитекторов в 1934 г. Цит. по: Паперный В. Культура Два. Ардис, 1985. С. 37. В том же источнике (С. 36–37) приведено суждение А.Н. Толстого, опубликованное в «Известиях» 27 февраля 1932 года в его статье «Поиски монументальности». – «Классическая архитектура (Рим) ближе всех нам потому, что многие элементы в ней совпадают с нашими требованиями. Ее открытость, ее назначение – для масс, импульс грандиозности – не грозящей, не подавляющей, но как выражение всемирности, все это не может не быть использовано нашим строительством».

ния не имевшем ни к одному из обоих названных полюсов. Этим «фоном» явилась специфическая атмосфера, получившая название бидермейера. Ее составляли, прежде всего, тон и стиль *повседневной жизни* бюргерства – класса, который более всего выиграл от преодоления Европой выше означенного рубежа, но не мог и не хотел реализовать свой выигрыш только и всецело в экономике, политике и социальном прогрессе. Ключевым понятием культуры, а в известной мере и ее содержанием, в бидермейере впервые стали частная жизнь, быт и их семиотика.

В театре и на концерте, в музее и кафе-читальне бюргер чувствовал себя «не у себя» и вынужденным уступать или аристократам, или вышедшим из их среды интеллектуалам. Настоящим местом проживания зажиточной бюргерской семьи отныне был, как правило, особняк, редко – наемная квартира. Представление о подобных особняках может дать так называемый дом Будденброков в Любеке или, в первую очередь, дом-музей «Кирмс-Краков» в Веймаре. Располагалась в нем семья во всей своей полноте, с зятьями и невестками, детьми и внуками, которые то по отдельности, а нередко и все вместе представлены на заказных картинах, развешанных по стенам. Однако самая броская черта, по которой сразу определяется бидермейер, – это мебель. Почти всегда заказная, сделанная местным ремесленником, мастером, обычно лично известным заказчику, с детства воспитанным в отвращении ко всему фабрично обезличенному и в уважении к изделию индивидуально сработанному, крепкому, практичному, рассчитанному на долгие годы службы и в то же время не слишком дорогому и внешне привлекательному.

«Консультша Будденброк расположилась рядом со свекровью на длинной белой софе с сиденьем, обтянутым желтой шелковой тканью, и спинкой, увенчанной золоченой головой льва. Сидели они в “ландшафтной” в первом этаже просторного старинного дома на Менгштрассе, недавно приобретенного главой фирмы “Иоганн Будденброк”, куда совсем недавно перебралось его семейство. На добротных упругих шпалерах, отделенных от стен небольшим полым пространством, были вытканы разнovidные ландшафты таких же блеклых тонов, как и чуть стершийся ковер на полу, – идиллии во вкусе XVIII столетия... Все это, за редким исключением, было изображено на фоне желтоватого заката, весьма подходившего к желтому

штофу лакированной белой мебели и к желтым шелковым гардинам на окнах»⁹⁰.

В приведенном отрывке наше внимание должны привлечь три детали: «просторный старинный дом», «идиллии во вкусе XVIII столетия» и «золоченая голова льва». О просторном старинном доме как об излюбленной резиденции бюргеров эпохи бидермейера упоминалось выше. Что касается атмосферы XVIII столетия, то люди этой формации были вполне включены в экономическое и культурное развитие Германии и были, если не верной социальной опорой реформ, начатых после 1840 года прусским королем Фридрихом Вильгельмом IV, то общественной силой, готовой спокойно жить и работать, устраиваться и богатеть в их атмосфере. При этом, однако, вкус к оформлению жизни в тонах и формах предшествующей эпохи – до-революционной и до-наполеоновской, по-старинному стабильной и примыкающей к традиции – немецкой, бюргерской, но и общеевропейского ancien régime, оставался отличительной особенностью людей бидермейеровского мироощущения и отчетливо формировал любезную их сердцу семиотическую среду. Чтобы в этом убедиться, достаточно просмотреть обильно иллюстрированные издания, посвященные бидермейеру, как эпохе и стилю⁹¹.

В ходе такого просмотра и становится существенной третья из обозначенных выше будденброковских черт – золоченая голова льва. Она отсылает к антично-римскому декору, излюбленный прием которого состоял в украшении изделия, архитектурного или интерьерного, накладной деталью⁹², в частности, головкой животного – фантастического или реального. Пример первого – колодец у входа в улицу Изобилия в Помпеях, пример последнего – «Медное в те вре-

⁹⁰ Манн Томас. Будденброки / Перев. Н. Манн. М.: ГИХЛ. 1953. С. 7–9. В цитате не помечены пропуски строк, лишь косвенно связанных по содержанию с предлагаемым анализом.

⁹¹ В настоящем очерке в первую очередь использованы: Biedermeier. Leipzig: Prisma Verlag, 1976. Илл. №№ 5, 7, 19, 21, 31, 43; Geismeyer Willi. Biedermeier. Das Bild vom Biedermeier Zeit und Kultur des Biedermeier Kunst und Kunstleben des Biedermeier. Leipzig: Seemann Verlag, 1979. Илл. №№ 61, 65, 71, 80, 82, 85, 90 и мн. др.

⁹² См. более подробно: Кнабе Г.С. Древний Рим – история и повседневность. М.: Искусство, 1986. С. 175–189.

мена изголовье скромной кровати / Лишь головою осла в веночке украшено было» (Ювенал II, 93). С этой деталью в образную стихию бидермейера входят антично-римские мотивы. Нет, разумеется, оснований полагать, что вкус заказчика – руководителя торговой фирмы Будденброк, или исполнение заказа – были непосредственно ориентированы на древние тексты или помпейские реалии (с последним, впрочем, дело обстоит, как мы вскоре увидим, сложнее). Речь идет не о непосредственности такого знакомства, а о том, насколько многообразно, органично и, можно сказать, жадно материал антично-римского повседневного быта был усвоен культурой XVIII века и воспринят бидермейером вместе с ретроспективно-консервативным духом, так ему свойственным и так им ценным.

Обратимся к типично бидермейеровскому материалу, собранному в названных выше исследованиях. Перед нами ордерно оформленный камин со стоящим на полке амурчиком – наполовину античным, наполовину рококо (№ 61). Под ним, насколько можно судить по несовершенной репродукции, типично римский «самовар» – прибор для кипячения воды и подогрева пищи. На репродукции № 65 и многих других изображены персонажи сидят на креслах с отогнутыми наружу ножками – прием, характерный для Римской империи I века и засвидетельствованный хотя бы статуей сидящей Агриппины Младшей. Два монарха – русский Николай I и прусский принц Вильгельм – изображены едущими мимо берлинской Новой Вахты с ее подчеркнутыми античными деталями и для вящего сходства – с двумя фланкирующими ее статуями, как они ставились в Риме (№ 85). В другой из книг, названных в примеч. 91, обращают на себя внимание секретер, целиком смонтированный из антично-римских архитектурных деталей (№ 5), или бокал, расписанный пейзажем, в центре которого высится римский круглый храм. Может быть, это современная беседка, стилизованная под римский храм; источник такой стилизации во всяком случае остается бесспорным (№. 21). На иллюстрации № 43 изображен маленький круглый столик, опирающийся на ножки, которые кончаются львиными лапами, как это делалось в Риме в начале новой эры (и как засвидетельствовано, например, триподом из Национального археологического музея в Неаполе).

Соотношение немецкого бидермейера, вписанного в буржуазно-прогрессивный XIX век, его обращения к опыту XVIII века и отказ

последнего от излюбленного им римского возвышенного классицизма ради обращения к повседневному римскому быту требует в связи с нашей темой более углубленного анализа.

При сколько-нибудь внимательном знакомстве с жизнью и духом XVIII столетия становится ясно, что атмосфера времени далеко не исчерпывалась антично-римскими образами и классицизмом, отстаивавшим общественные идеалы, будь то просвещенного абсолютизма, будь то революционного самопожертвования и героизма. Рядом с ними открывалось пространство культуры и искусства, получившее тогда и впоследствии название рококо. Оно оттеняло противоречивое сопричастие наджизненного идеала и жизненной привлекательности, суровости самоотречения и многообразия наслаждений, непреложности нормы и относительности морали. Эту вторую сторону эпохи счел основной в ретроспекции Фридрих Ницше, назвавший в «Воле к власти» XVIII век в целом *un peu canaille*. Дени Дидро как современник отразил это противоречивое сопричастие в «Племяннике Рамо», а Гегель неслучайно посвятил этому диалогу несколько замечательно глубоких страниц в «Феноменологии духа». Все они уловили в самосознании и в образах эпохи ее философскую исповедь: ощущение взаимной правоты и неправоты нормы и жизни вообще, классицизма с его антично-римскими слагаемыми и общественной практики развивающейся европейской действительности в частности.

Это ощущение было разлито в атмосфере времени и, наконец, материализовалось. Местные крестьяне и мелочные торговцы, которые жили в селах и городках неподалеку от развалин древних Помпей и Геркуланума, веками растаскивали на свои бытовые нужды, не придавая этому особого значения, валявшиеся под ногами обломки исчезнувшей римской жизни. К середине XVIII века подножное собирательство стало все чаще менять смысл и цель, а быт и вещи – расти в цене. Античный Рим на глазах переставал быть собранием текстов и статуй, свидетельствовавших о великом прошлом или указывавших путь к светлому будущему, и встраивался в растущий интерес не только к *былому величию*, но и к *былой жизни*. В 1748 году неаполитанский король Карл III подписал разрешение на планомерные раскопки в Помпеях. 30 марта того же года они начались, чтобы длиться до сих пор. В Европу хлынул поток посуды, мебели, надписей, а в

сознание европейцев – ощущение того, что Древний Рим, бесспорно, принадлежит прошлому, которое надо изучать и описывать, но этим прошлым не исчерпывается, что он живет и вмешивается в окружающую жизнь. Разделившая эти два Рима незримая черта сохранялась во всей своей непреложности для одних, для других расплывалась так, чтобы соединять эти два «прошлых». Пример первых – Гете как автор «Итальянского путешествия», пример второго – Давид как автор портрета госпожи Рекамье.

В ходе своего путешествия по Италии в 1787 году Гете оказался в Неаполе, где его пригласили посетить раскопки Помпей. Вернувшись, он расположился на террасе отеля, в котором останавливался, хорошо пообедал, полюбовался открывавшимся приморским пейзажем и понял, как все это несовместимо с увиденным в частично уже раскопанном мертвом городе. Римская древность еще раз предстала перед его воображением в облике, созданном Горацием и Вергилием, Ливием и Тацитом, во всем своем отодвинутом в прошлое величии, в ореоле *senatus populusque, res publica* и *imperium Romanum*, в ореоле *mos maiorum, pietas* и *virtus*. В ореоле полностью чуждом всему бытовому, повседневному, практически пригодному и полезному. Все только что им виденное, от осыпавшихся стен до поваленных колонн и от хозяйственной утвари до надписей подчас непристойного содержания, не только не имело с этим образом великой эпохи ничего общего, но было для нее глубоко оскорбительно. Как говорили на его родном немецком: либо окружающая реальная жизнь с ее достоинствами, недостатками, привычками и вещами, либо достояние воображения и исторической памяти. Либо образ – либо жизненная реальность⁹³.

Прямая противоположность отраженному здесь восприятию римской античности – портрет Жюльеты Рекамье работы Давида (1800) и все, что с этим портретом связано. Молодая дама, полусидя, возле-

⁹³ Neapel. Sonntag, den 11. März 1787. «Den wunderlichen, halb unangenehmen Eindruck dieser mumisierten Stadt wuschen wir wieder aus den Gemütern, als wir, in der Laube zunächst des Meeres in einem geringen Gasthof sitzend, ein frugales Mahl verzehrten und uns an der Himmelsbläue, an des Meeres Glanz und Licht ergötzen, in Hoffnung, wenn dieses Fleckchen mit Weinlaub bedeckt sein würde, uns hier wiederzusehen und uns zusammen zu ergötzen». Goethes Werke. Hamburger Ausgabe in 14 Bänden. Textkritisch durchgesehen und mit Anmerkungen versehen von Erich Tunz. Hamburg, 1948.

жит на ложе. Интерьерный фон художником почти не разработан, так что внимание зрителя сосредотачивается на вещах первого плана: на самом ложе, на длинном плоском табурете под ним, на высоком стоячем канделябре, на платье – легком и в то же время обволакивающем тело своими обильными складками, на босых ступнях героини. Произведение это занимает в творчестве Давида и в культурно-исторической эволюции его времени особое место. Вся материальная среда, все детали, только что перечисленные, навеяны воспоминаниями о древнем Риме. Его канону Давид был верен вплоть до последних лет XVIII века. С ним, с великим и героическим Римом, связаны впечатления пяти лет, проведенных им в этом городе (1775–1780), отзвуки этих впечатлений отложились в произведениях, сделавших его знаменитым, – «Клятва Горациев» (1785), «Брут, встречающий тела осужденных им на смерть сыновей» (1789). Верность высокому классицизму сказывалась в этих полотнах, где материально-пространственная среда подчинена тому же настроению: героическое напряжение персонажей, тяжелый камень сводов, почти полное отсутствие обстановки; она предельно обобщена, не знает деталей, не допускает проверки сопоставлением с римскими подлинниками. На портрете Рекамье вся среда и весь антураж тоже римские, но это совершенно другой Рим. Рим, вписанный в перестройку, которую пережила Франция за несколько последних лет от якобинской диктатуры к Директории и началу консульства, от прав человека и гражданина к праву на сохранение и рост добытого богатства, на наслаждение им, от Сен-Жюста к папаше Гранде. Все римское здесь подлинно, но вписано в движение современной жизни, в повседневность и быт.

Ложе, на котором возлежит Рекамье, воспроизводит римские. Но больше всего оно напоминает не столько ложе, как таковое, сколько биселлиум – диван, рассчитанный на двух человек, сидящих рядом⁹⁴. Сходство ложа с этим биселлиумом вероятно, хотя и не бесспорно, но бесспорен стоящий под ложем табурет. Бесспорен в том смысле, что он воспроизводит широкий табурет, применявшийся, если бисел-

⁹⁴ В первую очередь так называемый Капитолийский биселлиум из Музея Консерватори в Риме. См. репродукцию его, использованную в книге: *Luisa Franchi dell'Orto. Roma antica. Vita e cultura*. Firenze: Scala Books, 1982. P. 68.

лиум использовался двумя людьми, что имело место только в сакральных ситуациях. Тем самым, неуместность его в данной ситуации сомнений вызвать не может. Постоянной нормой в работе ремесленников, создававших в Древнем Риме его инвентарь, и шире – его материально-пространственную среду в целом, был принцип аппликации⁹⁵. Он предполагал максимальное сохранение раз и навсегда найденной, конструктивной, как бы вечной, основы изделия и наложение на нее всякого рода декоративных покрытий; движение времени, вкусов и моды обнаруживалось именно и только в них. В подлинных римских ложах (и, в частности, в биселлиуме) ножки скрыты под оболочкой, состоящей из нескольких пар конусов, опрокинутых широкой стороной друг на друга. Давид знает об этой особенности римских лож, воспроизводит ее, но привязанность рококо ко всему мелкому и дробному и в этом смысле изящному заставляет его заменить эти несколько крупных конусов множеством таких же, но настолько мелких, что они, скорее, смотрятся как чешуя. Далее. На римских изображениях не видно женщин с босыми ногами. Как правило, ступни скрыты доходящей до пола юбкой-инститой. Там, где ее нет, как, например, в изображении пишущего Вергилия, по обеим сторонам которого стоят две женских фигуры, ступни их скрыты обувью⁹⁶. Так же – на изображении Ливии, жены императора Августа, где одна нога, показавшаяся из-под инститы, явно обута⁹⁷. Отсутствие обуви у мужчин за пределами явно бытовых сюжетов, тем более на скульптурных изображениях, воспринималось в Риме как сакральное, характерное для богоравных фигур – Августа из Примапорты или сидящего императора Клавдия. Вводя эту деталь, Давид, судя по всему, сознательно, балансирует на грани верности истории и столь модной в 90-х годах XVIII века эротической фривольности.

Кое-что надо сказать и об одежде. Женская одежда в Риме состояла из трех кусков тяжелой шерстяной ткани, использовавшихся так, чтобы они целиком скрывали все особенности женской фигуры.

⁹⁵ См. в книге, названной в примечании 91, раздел «Художественное конструирование и внутренняя форма римской культуры». С. 175–198.

⁹⁶ См. репродукцию в кн.: *Остерман Л.* Римская история в лицах. М.: ОГИ, 1997. С. 422.

⁹⁷ Там же, с. 403.

«Стыдливость ограждает честность», – писал Сенека, обращаясь к знатной римлянке, и добавлял, говоря об одежде: в ней «тело твое не открыто ничьим вожделениям»⁹⁸. Одежда Жюльеты Рекамье напоминает «что-то римское» обилием ткани, ее бесконечными складками, ее белизной, но полностью освобождает и героиню, и зрителя от этих документально засвидетельствованных римских ассоциаций. Открытые шея, руки и ноги и воздушная легкость ткани вызывают представления, прямо противоположные тем, на которые рассчитана была одежда женщин в Риме, но которые целиком вписывались в весьма вольную атмосферу Директории и раннего ампира.

Античный Рим упорно сохранял свою изменившуюся роль: уже не героизм и масштаб, не склоняющиеся над жизнью и ей нормативно противостоящие величественные тени, а составная часть реальности. Реальности римской, открывшейся людям Нового времени в Геркулануме и Помпеях, и реальности новоевропейской с ее проснувшимся восприятием «жизни как средства и цели бытия, вершину и корень всех отраслей умственного и сердечного просвещения». Эта метаморфоза получила особенно четкую и в то же время глубокую формулировку в работах замечательного отечественного культуролога, постоянно занимавшегося эпохой, нас сейчас интересующей, – Александра Викторовича Михайлова. Эти свойства его работ оправдывают пространную выписку из них. – «Раскапывая погребенные под лавой и пеплом древние города, люди XVIII века – возможно, они не сознавали это в полную меру – возвращались на свою улицу, пусть забытую. Они раскапывали свое – то, что было засыпано слоями земли и перекрыто слоями сознания. Здесь раскопки всегда – не просто поиски остатков, следов материальной культуры, но и открытие своих духовных начал, от которых к настоящему вела непрерывающаяся линия исторического истолкования и, в таком непрерывном истолковании, самоуразумения. Лишь позже, скорее только теперь, стало ясно, насколько все политические, военные, культурные потрясения двух тысяч лет не способны были нарушить линию исторической преемственности; несмотря на все разрывы нитей, насильственные разрушения, сторонние влияния и все прочее, оставался солидный запас исторических констант. Причем, конечно же, “константа” подраз-

⁹⁸ О блаженной жизни, 13.

умеает сейчас не неподвижность одного и того же, но пребывание одного и того же культурного начала в своей непрестанной изменчивости, постоянство и изменение, постоянство и ускользание – согласно исторической логике перемен. Однако – во всех случаях лишь закономерное изменение, но не измена»⁹⁹.

С этим переходом и в то же время сохранением мы имели дело, говоря о бидермейере, с ними же – говоря о подправленной à la *gomaine* атмосфере Директории и ампира. Европа все еще оставалась Европой, т. е. постоянно уходящим и до поры до времени неуклонно остающимся призраком Рима. Еще несколько десятилетий – и тот же призрак снова вошел в европейскую историю и породил культурные обертоны, окутавшие строительство империи в викторианской Англии.

Одним из самых значительных сочинений, ставших как бы манифестом викторианской Англии, явилась небольшая книга Мэтью Арнольда «Культура и анархия» (1869, пересмотренный и апробированный автором текст – 1875). Есть универсальное благо. Оно называется «культура». Оно опирается на веру в Бога и на интеллект, предполагающий свободное просвещение («*liberal education*»). Те, кто стремятся освободить живущую в душе каждого духовную потребность в этих благах – поборники культуры, кто стремятся эти блага препарировать для массового потребления и заменить материальным благосостоянием или техническим прогрессом – ее противники. «Взор культуры устремлен поверх машин и махинаций, она ненавидит ненависть. Но ведома ей и еще более сильная страсть! Она не знает удовлетворения, пока *все* не обретут облик совершенства; она знает, что сладость и свет для немногих остаются несовершенны, пока не распространятся они на погруженные в себя и незатронутые просвещением массы человечества»¹⁰⁰.

Определенная часть английского общества и породила эти мысли, и прочла их как своего рода собственную исповедь или присягу. Эта часть общества обозначалась словом *gentleman*. Словом, как все

⁹⁹ Михайлов А.В. Идеал античности и изменчивость культуры. Рубеж XVIII–XIX вв. // Михайлов А.В. Языки культуры. М.: Языки русской культуры. 1997. С. 522.

¹⁰⁰ Arnold Matthew. Culture and Anarchy. Berkeley: Univ. of California Press, 1982. P. 69.

слова культуры, непередаваемым, но в викторианскую эпоху ассоциировавшимся, прежде всего, с тремя взаимосвязанными понятиями – с образованием, полученным в Оксфорде или Кембридже; с классическими языками, т. е. латинским и древнегреческим, составлявшими основу учебных планов в этих университетах, и с хорошим владением совокупностью древних текстов на этих языках; с высокой административно-правительственной карьерой. Два свидетельства – одно 1810, другое 1854 года – подтверждают мнение Мэтью Арнольда и показывают, какие следствия вытекали из его подхода. Первое. – «Классическое образование не готовит выпускника университета к определенной служебной деятельности или к наращиванию богатства. Но оно, во всяком случае, обеспечивает культуру мысли, которая является благом в себе. Такое образование есть благо высшего порядка независимо от того, обеспечивает ли оно физическое преуспеяние или удовлетворение каких-либо потребностей. Высокое чувство чести, презрение к смерти в борьбе за достойную цель, страстная преданность делу процветания родной страны, энергия и любовь к славе входят в число тех чувств, которые воспитываются занятием классическими языками и древними авторами». И второе. – «По отношению к большим академическим учебным заведениям Англии было бы в высшей степени несправедливо не признавать хорошее владение греческим и латинским стихосложением весомым аргументом в пользу включения такого рода лиц в число допущенных по результатам конкурса к занятию высших должностей в Администрации Индии»¹⁰¹.

Упоминание во втором из приведенных отзывов об Администрации Индии глубоко значимо. В образе джентльмена из названных выше слагаемых третье было органически связано с первыми двумя, а в этом контексте – и с мыслью Мэтью Арнольда, завершающей приведенный выше отрывок из «Культуры и анархии». Обязательство

¹⁰¹ Первое из этих свидетельств принадлежит Эдварду Коплстону (1776–1849), латинисту и профессору Оксфорда, второе – лорду Маколею (1800–1859), историку, писателю и политическому деятелю, одному из руководителей администрации Индии. Оба свидетельства, как и некоторые последующие, заимствованы из богато документированной статьи: *Victoria Tietze Larson. Classics and the Acquisition and Validation of Power in Britain's "Imperial Century" (1815–1914)* // *International Journal of the Classical Tradition*. 1999. Vol. 6, No. 2. P. 185–225.

перед «погруженными в себя и незатронутыми просвещением массы человечества» было, судя по всему, менее всего свойственно поведению английского джентльмена XIX века в реальной жизни, но также, судя по всему, не было посторонним его общим представлениям об отношениях между Англией и англичанами, с одной стороны, и означенными массами, с другой. Такие представления, как это ни парадоксально звучит, тоже входили в общий контекст с классическими языками и текстами древних (не только римских, но и в первую очередь греческих) авторов. В Оксфорде и в Кембридже история античности преподавалась так, что на первый план выходили проблемы правящей элиты в ее отношениях, с одной стороны, с массами, с другой – с союзными полисами, как, например, в Афинском союзе, как в Римской Италии или, позже, в Империи. Соответственно, входили в число обязательных некоторые тексты Платона (в первую очередь – «Государство» и VII Письмо), Аристотеля (в первую очередь – «Никомахова этика») и некоторые пассажи Фукидида и Вергилия. Именно там правящая элита викторианской Англии находила рецепты, как вести себя в атмосфере общественной ответственности, созданной Реформой 1832 года и обязанностью разумно управлять народами собственной империи. Такая атмосфера не исчерпывалась ни этим временем, ни этим кругом как таковым. Широко известен интерес к римской истории вообще и к Римской империи в частности Сесилия Родса¹⁰² и еще более известно стихотворение Киплинга «Несите бремя белых...» (1899).

Нам остается обратить внимание на более частные и мимолетные, но подчас пронзительные следы все того же неотвязного призрака не только в конце XIX, но и на протяжении значительной части XX века. В их числе примечательны французские поэты объединения Парнас и, в первую очередь, Эредиа с его сборником сонетов «Трофеи» (1893), рассказ Белля «Путник, если ты придешь в Спа...» (1950; 1958) и роман (если его можно назвать романом) Йена Пирса «Сон Сципиона» (английский оригинал – s.l.n.d., русский перевод – 2005), к которому нам еще предстоит вернуться.

¹⁰² *Baker Herbert*. Cecil Rhodes by his Architect. 2nd ed. Freeport; New York, 1969.

Итог: Римские константы в культурном развитии Европы

Многообразный и разнородный материал, характеризующий европейскую культуру и историю с точки зрения сохранения и активного соприсутствия в ней римского наследия, может быть систематизирован и сведен к некоторым относительно постоянным величинам.

К числу таких констант относятся *канон* как условие и принцип бытия культуры; *экспансия* как распространение данной формы цивилизации на другие ее формы и как свидетельство релятивизации канона; *индивидуальность* как дискретный принцип существования и коррекция ее *микромножественной структурой* общественного бытия.

Канон

В европейской цивилизации четко различим некоторый устойчивый набор даже не понятий, а скорее представлений, ценностей и переживаний, для нее нормативных, как бы вросших в ее историю, подлежащих сохранению и передаче из поколения в поколение и составляющих основу европейской самоидентификации. В Европе такой канон связан с противопоставлением культуры, как начала эстетически организованного и нравственно возвышенного, жизни, как обычному существованию. Противопоставление это свидетельствуется, начиная уже с самого общего принципа средневековой культуры – с христианского вероучения. Истины его должны были излагаться почти исключительно по-латыни, т. е. на языке, пастве неизвестном, требовавшем поклонения, а не понимания, и становившемся *канонам* – формульным текстом, поднятым над повседневной жизнью и ее людьми.

Отличие собственно европейского, западно-католического варианта христианства от варианта восточно-православного, оформившееся, как известно, в 1054 году, исподволь вызревало уже по крайней мере с IV века, отражая в исходной своей глубине противоположность эманационных отношений между ипостасями божества (на Востоке) и представления о *filioque* (на Западе). На востоке сохранялось подспудно унаследованное от Плотина и неоплатонизма в целом, ожи-

вавшее в переосмысленном виде у Ареопагита, Григория Нового Богослова, Сергия Радонежского и в русском сергианстве, представление о поступенчатом нисхождении благодати от Бога через Сына к реальному миру и, в конечном счете, к переживанию ее в душе человека. Нисхождение тем самым устанавливало единую связь между Богом и верующим, а значит – и возможность обратного восхождения: *пережитой* отзвук благодати в душе человека и движение такого отзвука «вверх», к Богу. Этот отзвук и это обоюдное движение реализовались в почитании иконы, в религиозном образе жизни, в том, что Сергий называл «умной молитвой». Религиозный тип культуры и религиозная жизнь оказывались накрепко связанными единой цепью.

В западноевропейском же католичестве догмат о единстве Отца и Сына, напротив того, трактовался так, что благодать исходит от них едино, без нисхождения по ступеням бытия, без самореализации в направленных на дольний мир божественных энергиях. Сущность Бога замкнута в нем самом. Как сказано в одном из авторитетных компендиумов по католической теологии, «Бог не стремится привлечь к себе души, ибо он дан им как высшая истина и высшее благо, как вечный дух, пребывающий в себе»¹⁰³.

Это сопоставление формы, в той или иной мере кодифицированной, выраженной в своей ценностной и в этом смысле императивной общезначимости, и текучего индивидуально переживаемого содержания обнаруживается в самых разных проявлениях западноевропейской культуры, образуя на протяжении веков кардинальную ее общую характеристику.

Данте в «Пире» описал соотношение языков, лежавшее в основе культуры и общественного сознания средневекового общества Европы. Оно предполагало различие двух регистров духовной жизни, один из которых находил себе выражение в латинском языке, другой – в народном. Различие между ними носило иерархический характер: «латинский язык неизменен и не подвержен порче, народный же неустойчив и подвержен порче» (V, 7); «народный язык следует обычаю, а латинский – искусству, почему он и признается более красивым, более достойным и более благородным» (V, 13); они принад-

¹⁰³ Exposition de la doctrine catholique par les grands écrivains français. Tours, 1897. P. 178–179.

лежат к двум взаимно непроницаемым сферам: «латынь не понимает народного языка» (VI, 8; перев. И.Н. Голенищева-Кутузова).

Путь культуры как эталона и нормы, ценностно возвышавшейся над повседневным существованием людей, пролегал через многовековую жизнь Европы, уходя в ее глубины, становясь ее переживаемым образом. Средневековая философия исходила, вполне естественно, из высшего и непререкаемого авторитета Священного Писания, но, начиная, по крайней мере, с XIII века, осмысляла познание, достигаемое философией, через античные авторитеты – либо как континуальное, опираясь на Платона, либо как дискретное, опираясь на Аристотеля. Вазари в 1550 году подвел итоги предшествующего почти двухвекового развития культуры, обозначив переживаемую им эпоху как Возрождение, т. е. как признание за классической греко-римской древностью роли эталона и высокой нормы. В 1440-е годы гуманисты устраивали пирушки, скрупулезно воспроизводя меблировку, одежду, меню и язык римских празднеств эпохи принципата. В 1470-е друзья Марсилио Фичино из окружения Лоренцо Великолепного пытались толковать жизнь, человека и историю, развивая в качестве исходного канона мысли Платона. В 1510-е Макиавелли анализировал политическую обстановку в Италии на основе *similitudo temporum* – «подобия времен», составляя комментарий к первым десяти книгам Тита Ливия. Ситуация на Севере – во Франции, Германии, отчасти и в Англии – в этом смысле мало чем отличалась от итальянской.

Все основное, сюда относящееся, – напомним – было сказано в разделе о *similitudo temporum*. Соответственно, вряд ли есть необходимость продолжать примеры, иллюстрирующие сформулированное только что исходное положение: достаточно их напомнить. Палладио (1507–1574) создал из сплава более или менее сохранившейся римской архитектуры и современных ему идеализованных представлений о ней стиль, продолжавший жить (с вариациями) в качестве эталона в городах Европы от Малаги до Петербурга и с XVI века до середины века XIX. Нормативность теории и художественной практики классицизма для литературы вообще и для драматургии в частности засвидетельствована вплоть до начала XIX века многократно от Буало или Лессинга до Мерзлякова. И в самом XIX веке, равно как в первой половине XX века, после обращения литературы и культуры в целом к реализму и реальной жизни восприятие определенных

сторон ее продолжало в каждой данной конкретной области ориентироваться на канон.

Одежда соответствовала определенному общественному состоянию человека и в пределах этого состояния не допускала резких вариаций, ибо сохраняла значение нормы. Существует цветная гравюра, на которой представлено открытие Генеральных Штатов в Версале 5 мая 1789 года. Представители сословий занимали в зале определенные ряды, разделенные проходами, так что каждое из них представало в виде прямоугольника. Прямоугольник духовенства был лиловым, прямоугольник буржуазии черным, и только прямоугольник дворянства отличался некоторой – незначительной – пестротой. В первой половине XIX века фрак сохранял значение униформы, без которой человек не мог представлять в сколько-нибудь даже не официальном, а общественно приличном качестве, и так же воспринимался в первой половине XX века темный костюм из шерстяной ткани. Свидетельства такого рода сохранились касательно литературных героев от Онегина до Растиньяка, а касательно живых людей – от Чехова до Чемберлена.

Ту же роль в ту же эпоху стали играть общие нормы народного образования и определявшие его содержание программы. Несмотря на существование частных свободных школ, критерии образованности общества создавали школы, где программы контролировались государством и были в максимальной степени унифицированы. В результате складывался проверяемый и утверждаемый канон образования, признававший один набор сведений и лиц и отводивший другой. Во Франции не полагалось знать Бальзака, чьи книги выходили огромными тиражами и читались в самых разных слоях общества, но каждый школьник должен был знать наизусть кое-что из Корнеля, Расина или Вольтера. В России обязательным было знать Лермонтова, но даже не упоминались Тютчев или Достоевский. Любому не-англичанину трудно понять ведущую роль, отводившуюся в программах большинства английских школ Мильтону или Поупу, но именно знание *их* наследия отличало в XIX веке a true gentleman.

Та же ценностная мировоззренческая установка обуславливала существование и развитие европейской науки. Со второй половины XVII века, с эпохи Декарта, Ньютона и Лейбница, в жизнь, мышление и культуру Европы входит особый вид духовной деятельности – нау-

ка, т. е. адекватное описание и анализ процессов природы и общества на основе проверенных фактов, объективного их освещения, раскрытия их логической связи и извлечения из такого анализа и освещения рационально доказуемых выводов. На протяжении последовавших трехсот лет именно развитие такой науки обеспечило невиданный до того рост производительных сил и изменение жизни людей на основе техники и комфорта. Задолго до этого, однако, с наукой ассоциировалось и создавало ее предпосылку иное направление духовной деятельности. Оно состояло, в частности, в обнаружении в мире за его предметной пестротой и многообразием некоторой исходной единой субстанции. Как таковая, она не дана нам непосредственно, в чувственном восприятии, но раскрывается сознанию как результат его творческой, преобразующей активности, перерабатывающей впечатления мира и возвышающей их до целостного его интеллектуального образа; противоположность науки в прямом смысле слова и философии в таком образе снимается. В общем виде это представление, родившееся в Древней Греции и дожившее до наших дней, от милетской школы и Платона до образа упорядоченной вселенной у Ньютона и в позднейших философских системах, широко известно. В Европе оно постепенно стало восприниматься как познавательная суть науки и ее отправной духовный смысл. Таким видел ее Декарт («я мыслю, следовательно, я существую»), столетием спустя – Кант («Природа в самой себе – только совокупность явлений и, значит, не вещь в себе, а множество представлений души»), позже – Шопенгауэр («Нет истины более несомненной, чем та, что все существующее для познания, следовательно, весь этот мир, – лишь объект по отношению к субъекту, созерцание созерцающего»), пока этот взгляд не получил своеобразное выражение в работах Эдмунда Гуссерля. Своеобразие его заключалось, в частности, в признании, которое присутствовало и у Декарта, и у Канта, и у Шопенгауэра имплицитно, но которое стало осознанным и провозглашенным принципом именно у Гуссерля: укорененность данного подхода в научно-философской традиции Европы и его специфически европейский характер.

Наиболее ярко этот взгляд представлен в таких работах Гуссерля, как «Философия как строгая наука» и, прежде всего, – «Кризис европейского человечества и философия». Основная их мысль варьирует исходную, главную установку всей феноменологии Гуссерля. –

Истина рождается не из сопоставления фактов истории или природы с внутренним содержанием философского сознания, а исключительно из интенциональной направленности этого сознания, из самодостаточной последующей его активности и из расчлененной замкнутости разума на себя. «Исторические основания в состоянии извлекать из себя лишь исторические следствия. Желание обосновать или отвергнуть идеи на основании фактов – бессмыслица»¹⁰⁴; бессмыслица – такая же, как коррекция внутренней логики сознания обращением к «натуралистическому объективизму». Вот эта-то установка и воплощена «в понятии Европы как исторической телеологии бесконечной цели разума; нужно показать, как европейский мир был рожден из идеи разума»¹⁰⁵.

Экспансия

Понятие «Европа» родилось после крушения античного мира, говоря точнее – Западной Римской империи. Самими жителями это понятие в собственном своем качестве, судя по всему, не осознавалось, и расплывчатая географическая целостность, империи соответствовавшая, простиралась для них лишь от центра Пиренейского полуострова до областей по Рейну и Верхнему и Среднему Дунаю и от Шотландии до Сицилии и Северной Африки. Все территории, дополнившие это изначальное ядро, влились в него в последующие века, составляя магистральный, неуклонный процесс и выражая его принципиальное культурно-историческое существо. Оно предполагало и предполагает, во-первых, выход такой «европеизации» не только за пределы указанного изначального ядра, но и за пределы Западной Европы как географического понятия и распространение ее, в частности, на другие континенты. Оно предполагало и предполагает, во-вторых, своеобразную метизацию европейского начала, которое отчасти взаимодействует с местными культурами, отчасти само по себе варьируется по географическим ареалам.

¹⁰⁴ Гуссерль Э. Философия как строгая наука. Новочеркасск, 1994. С. 161.

¹⁰⁵ Гуссерль Э. Кризис европейского человечества и философия // Там же. С. 126 (курсив Гуссерля).

Оставим пока что в стороне сложный, но в конечных своих результатах очевидный, процесс включения в европейский тип развития Скандинавии и стран Средней Европы. За его пределами в первом из только что означенных смыслов примером может служить, прежде всего, освоение европейцами Северной Америки, а затем и Австралии. Примером второго – возникновение в Южной Америке особой по своему строению культуры, где пласт, принесенный и культивировавшийся испанскими завоевателями, до сих пор сосуществует с пластом, родившимся из местной почвы. Особое место занимает в этом процессе колонизация. Теперь, когда уже полстолетия как этот процесс, по крайней мере в своих основных формах, завершился, становится все более ясно, что он не исчерпывался эксплуатацией местного населения и хищническим растаскиванием природных богатств колонизованных земель. Высший слой местного населения – там, где он сформировался и был носителем определенной культуры, – имел возможность приобщиться к европейскому образованию и, вернувшись на родину, стать носителем ее положительного потенциала. Обращает на себя внимание, что во многих африканских странах процесс деколонизации и построения местной независимой государственности после Второй мировой войны возглавили люди этого типа, сформировавшиеся в университетах Англии, Франции или Бельгии. Внешние (и от этого не менее существенные) проявления этого в дальнейшем нашли себе выражение в двух семиотически наиболее чутких и показательных сферах – в одежде и в архитектуре. В обоих случаях процесс этот шел лишь в одну сторону. Европейский тип одежды, распространяясь в городах, исподволь стирал многие повседневно бытовые контрасты среди туземного населения, а репертуар архитектурных форм, выработанный в Западной Европе от классицизма до модерна и конструктивизма, явился и сам по себе, и в составе так называемого колониального стиля, основой строительной практики в странах, переживших экспансию европейской культуры. (В данном случае, как и раньше, сказанное относится к положению, существовавшему до одного-двух последних десятилетий XX века.) То было выражение на непосредственно человеческом уровне экономических, социальных, административно-политических процессов, шедших в глубинах производства.

Естественная и изначальная этническая форма организации местного коллектива в Европе отчасти была преодолена еще в римскую эпоху. После этого рубежа население здесь никогда не было естественной аморфной массой, пополняемой за счет рождаемости, экзогамных отношений или в отдельных случаях – за счет прибывших к основному населению чужаков. Магистральный исторический процесс, при всех противоречиях и зигзагах, в конечном счете, обнаруживал здесь вплоть до наших дней единую, так сказать, интенцию. Его результатом должна была стать и неизменно становилась более или менее организованная структура. Она могла быть очерчена и устроена вертикально, вокруг сюзерена в феодальную эпоху, вокруг монарха на основе подданства, вокруг конституционно организованной власти в Новое время. Она могла быть очерчена горизонтально – изначалью на основе противоречивой связи между городами, наследниками римского гражданско-правового уклада, и потомками германских завоевателей, разместившимися вне их, потом – в процессе складывания централизованных государств. При этом возникавшие структура и устройство неуклонно, пусть противоречиво и исподволь, не только обретали правовую форму и охватывали население внешними законодательными нормами, но и становились заповедью, общественным инстинктом, этической традицией.

Представление о Франции, высказанное в завершающих строфах «Песни о Роланде» (XII век), явно несет в себе отождествление автора, читателей (или слушателей) и народа, вовлеченного в сюжет, с уникальным и организованным целым – *la dulce France*, «сладостной Францией». Рыцарство ощущало себя неуютно в городах с их восходящим к Риму понятием гражданской ответственности каждого перед законом; оно стремилось вырваться из рамок такой ответственности и заменить ее гордой и независимой волей свободного сеньора. Но именно поэтому его кодекс чести оказался отмененным неуклонно утверждающимся собственно европейским кодексом гражданства и права. «Кровавая свадьба Буондельмонти» в XII веке, трагедия последнего римского трибуна Кола ди Риенци в XIV и эпопея воспетого Клейстом Михаэля Колхаса в XVI – этапы большого *европейского* пути.

Некоторое время тому назад у нас пользовались значительной популярностью роман американской историка-медиевистики Наталии

Дэвис «Возвращение Мартина Герра» и сделанный на его основе фильм. Роман написан на широком архивном материале XVI века, и лежащее в основе фабулы признание (или непризнание) героя идентифицированным с носителем зарегистрированного имени проливает яркий и убедительный свет на ситуацию, нас сейчас интересующую. В середине XIX века в некоторых европейских странах с отчетливо выраженным этнически и национально разнородным составом населения прошли переписи (Бельгия 1846, Швейцария 1850, Австро-Венгрия 1857), фактически подчинившие национальную принадлежность местных жителей гражданству данного государства. Весьма показательны бесчисленные обращения общественного мнения в разных странах к так называемой доктрине Монро: изначально «Америка для американцев». Смысл таких обращений состоял (и состоит) в попытке исключить из числа граждан лиц, не принадлежащих к потомственному и надлежащим образом оформленному местному гражданству. Тенденция эта также свидетельствовала о массовом убеждении в полноценности лишь последнего типа единения и подчиненности ему в пределах данного государства всех других видов общности. Положение это, восходя к римскому гражданству, его правовому статусу и его социально-психологическому смыслу, простиралось на позднейшие периоды и во многом сохранялось вплоть до середины XX века.

При этом очень важно учитывать, что константой европейского сознания, начиная с XVI века, когда экспансия европейских производственных отношений в их огрубленном и преимущественно насильственном варианте стала неуклонным процессом, сделалось иерархическое соотношение европейской реальности, как ценности, и реальности внеевропейской либо как примитивной и убогой, либо как чужой и экзотической.

Индивидуализм

Общее место истории и теории европейской культуры состоит в том, что в основе ее лежит принцип индивидуализма и что именно он отличает европейский тип культуры от других культур земного шара. Исторический материал подтверждает этот взгляд. От десятков, если не сотен, тысяч надгробных надписей римлян эпохи им-

перии, внятно обрисовывающих личность умершего, до Декларации прав человека и гражданина, до провозглашения в джефферсоновой конституции права каждого на *pursuit of happiness* – «погоню за счастьем», до принципа свободы личности в рамках закона и международных соглашений о правах человека, европейская традиция всегда была ориентирована на индивида как на самостоятельный исходный атом истории и культуры.

В рамках этой традиции индивидуализм не исчерпывается конкретным человеческим «я». Историю и культуру здесь пронизывает *принцип* индивидуальности независимо от того, воплощен ли он в группе, коллективе или в самостоятельном выживании идеи. Сильное чувство, с которым мы всякий раз закрываем том Аристотеля, содержащий «Метафизику» и «О душе», порождено открытием обрисованного в этих сочинениях особого устройства действительности и отражения ее в мыслящем сознании. Бытие реализует себя в *акте энтелехии* и в обретенной в результате него *форме*. Быть – значит *становиться* самостоятельной формой и в этой проявившейся самостоятельности заключать и выражать свою сущность и свою индивидуальность в их нераздельности. Единство сущности, отдельности и индивидуальности предстает как логос, который есть и который становится тем, что он есть, в акте энтелехии. Последняя и реализует центральные для всей этой конструкции понятия *становление* и *самообретение*, т. е. предполагает внутреннюю *цель*, – на что указывает, в частности, само слово «энтелехия», – а потому мыслится в виде *энергии*, заложенной в бытии и *требующей* от него самореализации, обретения отдельности и формы¹⁰⁶.

Принцип, здесь вырисовывающийся, повторяется в главных своих чертах на всем протяжении истории европейской философии и культуры. Ощущение разлитой в бытии энергии, которая истекает из более широких и первичных его субстанций, чтобы воплотиться в единичности «вещи»; единство в энергетическом потенциале такой вещи ее индивидуальности, ее особости, и в то же время ее соотне-

¹⁰⁶ «Энтелехия есть единое и бытие в собственном смысле» (О душе II, 1, 412b). «Формой я называю суть бытия каждой вещи и ее первую сущность» (Метафизика VII, 9, 1032b). «Форма и вещь составляют одно» (Там же. XII, 10, 1075b).

сенности с питающими ее более общими слоями бытия; усмотрение в таком единстве ее сущности, пронизывающей ее индивидуальность и сказывающейся в ней; восприятие бытия как плотной и динамической сферы где, реализуя свой энергетический потенциал, «вещи»-индивиды взаимодействуют и сталкиваются, – узнается и в неоплатонизме (особенно у Прокла), и в так называемой корпускулярной философии – от атомизма Декарта до монадологии Лейбница, и в художественном каноне, ориентированном на изображение личности в ее борении – от героев античной трагедии до героев трагедии классицистической. Тот же принцип живет в «Феноменологии духа Гегеля – в логическом движении сущностных состояний непрестанно меняющегося бытия, в восприятии противоречия и движения противоречий как имманентной характеристики таких состояний, в лишь внутренне мотивированных непрестанных переходах и самообретениях *в-себе-бытия* и *для-себя-бытия*, в императиве «довериться абсолютному различию»¹⁰⁷.

Строй бытия, нашедший здесь себе отражение, представлен и в исторической жизни Европы. Бесконечное число раз подтвержденным общим местом стало сделанное некогда Огюстеном Тьерри открытие, согласно которому нервом средневековой истории стран, возникших на развалинах Римской империи, было постоянное напряженное взаимодействие, борьба и неразрывная связь городов, унаследовавших римское право и в известной мере римские традиции жизни, и сельских земель с их владельцами-германцами – противостояние, прослеженное историком вплоть до XVIII века. Трудно не заметить также связь обрисованного выше строя бытия с представлением о человеке как о свободной единице жизненной энергии, которое обнаруживается в основе философии, духовной и художественной жизни Европы XVII–XVIII веков и образует внутреннюю форму культуры этой эпохи от естественного права у Пуффендорфа и Спинозы до атомизма Декарта и монадологии Лейбница, от трактатов о мире до «Робинзона Крузо».

Это ощущение и образует подпочву того философского *принципа* бытия и сознания, который, просвечивая из глубин европейской

¹⁰⁷ Гегель Г.В.Ф. Феноменология духа // Гегель Г.В.Ф. Собрание сочинений. Т. IV. М., 1959. С. 354.

традиции, выражает ее историческую суть. Если *быть* значит *становиться*, а «становиться» значит отливаться в форму, форма же как сущность всегда отлична от другой сущности и формы, то в различии «своего» и «чужого» осуществляется самоидентификация личностей и групп, т. е. осознание ими своей индивидуальности как основы их участия в жизни и ответственности перед собой и за себя. После Гегеля этот принцип бытия редко формулируется на философском уровне. Европейскую *жизнь*, однако, в самых разных ее проявлениях он продолжает пронизывать до конкуренции каждого с каждым в капитализме XIX века, до рейгано-тэтчеровской экономики конца века XX. Перечитайте «Боливар не вынесет двоих» О'Генри или «Как в дурных романах» Генриха Белля.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Рубеж XX и XXI веков. Исчерпание и преобразование антично-римского слагаемого европейской культуры

Воздух времени

Выводы, касающиеся текущего массового состояния общества и отдельных его частей, текущей общественно-исторической жизни в целом, основываются на источниках самого разного типа и потому не могут сводиться в единую стройную систему. Это обнаруживается уже при попытках сколько-нибудь внятно определить тот период истории, который составляет достаточно широкий рубеж между XX и XXI веками, или так называемое «наше время».

В 2008 году исполнилось ровно 40 лет со времени сорбонских событий мая 1968 года. Многие органы печати, публикации в области политики и культуры в России и за рубежом отмечали эти десятилетия как истекающий, но в себе исторически единый, хотя и исторически двойственный период. Так формулировал это положение, в частности, известный политик и публицист Глеб Павловский. – «Когда в сентябре 2008 года финансовые дериваты вдруг перестали быть высоколиквидны, одно из свойств глобализации проявилось вполне – теперь это не просто высоколиквидный, это *самоликвидируемый мир*. Ясно, что мировой кризис окончательно похоронит прежнее – переходное, постялтинское состояние мира, которое было чуть скорректированной ялтинской системой – то есть диктатурой сверхдержав, где из двух осталась одна»¹⁰⁸. Пусть остается на совести политолога, мыслящего вехами мировой политики и не замечающего культуры, человеческих отношений, традиций, повседневности и моды, всего, чем живут люди, признание этого куса истории «ялтинским». Ныне действующее поколение – по крайней мере, старшее – пережило, а

¹⁰⁸ Тема недели: Новый капитализм. Вып. 8. 1 ноября 2008.

отчасти все еще переживает его не «по-ялтински», а как двуединство неолиберализма, или шестидесятничества, и глобализации и/или вступившего в критическую фазу в 1990-е – 2000-е годы «единения Европы». Как у нас в определенных кругах популярен и авторитетен Павловский, так в Германии во многом выразителем общественного мнения страны – мнения умеренно либерального – является газета Die Zeit («Время»). «Период от конца неолиберализма и до политики европейского единения, – констатирует она, – становится все более беспокойным»¹⁰⁹. «Наше время» предстает как два взаимосвязанных и нераздельных периода, друг друга продолжающих, друг другу противостоящих и перерастающих друг в друга. Лидер «красного мая» 68-го, а ныне депутат Европарламента Дэниэль Кон-Бендит исходит во многом из той же двусоставности, общественного и человеческого, воздуха. «Мир безмерно изменился. Да, он еще очень несправедлив, и есть много нерешенных проблем, но наши общества (французское, германское) пережили эволюцию, и их нельзя сравнивать с теми, какими они были в 60-е годы. Они стали более открытыми. Сегодняшние проблемы – не те же самые, что тогда. Освободительный национализм теряет силу; глобализация заставляет мыслить по-другому»¹¹⁰.

Время это – «наше», мы несем его в себе, не отделяя пережитое от осмысленного и прочитанного. Поэтому вступительная характеристика его, к которой мы приступаем, рассчитана на то, чтобы вызвать не точный и во всех пунктах документированный, а скорее, обобщенный образ пережитого и продуманного¹¹¹.

Шестидесятничество началось в середине 1950-х годов и стало иссякать в 1980-х. Его основа была экономической. Существовавшая к этому времени материально технологическая основа производства, которая складывалась еще в последней четверти XIX столетия и те-

¹⁰⁹ Die Zeit. Den 14. Dezember 2007. Курсив мой. – Г.К.

¹¹⁰ Culture, Identity, and Integration: A New Transatlantic Challenge. Transcript // Brussels Forum. April 30, 2006.

¹¹¹ Расположенное между обеими вехами и в известном смысле от них обеих отличающееся «семидесятничество», или «застой», в последнее время привлекающее все большее внимание отечественных культурологов, – явление в большой степени чисто советское. В контексте рассматриваемой темы оно не нарушает двуединство, о котором только что шла речь, и самостоятельно рассматриваться здесь не должно.

перь полностью устарела, оказалась более или менее разрушена военными действиями. В ходе наступившей реконструкции и автоматизации она обновилась и раскрыла заложенные в ней возможности роста производительных сил. Впервые за свою историю Западная Европа стала универсально сытой. Сытостью дело не исчерпывалось. Открытие синтетических материалов изменило не только характер и стоимость бытовой среды, но и ее облик. Исходная семиотика ее, веками основывавшаяся на противопоставлении скудно живших и плохо одетых масс преуспевшим слоям населения, изменилась в корне и сделала не только возможным, но и модным относительно вещное единообразие. Так называемая джинсовая революция 1962 года закрепила и интериоризировала это состояние, засвидетельствовав его рекламами джинсов Ливайз, где рекламировалось больше наступившее как бы равенство, нежели характеристика ткани и покроя, или новоизбранным мэром Нью Йорка, прославившегося, как говорили, своим первым же появлением на улицах города в залатанных джинсах. Культурно-историческая и человеческая судьба мини-юбки, вошедшей в жизнь Европы несколькими годами позже, отразила тот же процесс.

Другая сторона складывавшейся «цивилизации шестидесятых» состояла в выходе культурно-исторических процессов за пределы отдельных государств Европы и создании некоторого общеевропейского и общешестидесятнического стиля. Германия стала приглашать к себе принять участие в восстановлении разгромленной страны сначала испанцев, потом турок. Великобритания широко открыла двери рабочей силе из колоний, и все это в какой-то мере нарушило национально замкнутый характер государства и его культурных традиций. Резко усилившаяся в 1960-е годы и с тех пор не ослабевавшая интернационализация студенчества придавала этому процессу дополнительный размах и обнаруживала в нем дополнительные смыслы, зазвучавшие особенно громко и универсально, действительно, в майские дни 1968 года. Особенно громко и универсально стало звучать отныне умонастроение, оформившееся в рок-музыке, сначала как умонастроение молодого поколения, а вскоре – как умонастроение эпохи. Эта роль выразилась и усилилась за счет телевидения и звукозаписи, окончательно нарушивших монополию национальных государств на духовное формирование своего насе-

ления. Портативные, из рук в руки передаваемые, на редкость дешевые, сначала пластинки, а затем кассеты и диски сначала были восприняты как техническое новшество, но вскоре вошли в духовную партитуру времени как ее важнейшее слагаемое.

Рок-музыка как едва ли не самое адекватное выражение первой шестидесятилетней фазы культурной дихотомии нашего времени заслуживает того, чтобы в данном контексте сказать о нем чуть более подробно.

Рок – если не касаться некоторых его праформ – родился в США в 1954 году с песенкой Билла Хейли «Rock round the clock», давшей название начинавшемуся музыкальному стилю; тот же год там же – первая коммерческая пластинка Элвиса Пресли. 1956–1962 годы – мания рока захлестывает города Северной Англии и, прежде всего, Ливерпуль. 1960 год – гамбургские гастроли ливерпульской по происхождению группы «Битлз», ознаменовавшие фактическое рождение этой легендарной группы и распространение увлечения роком на континент. На протяжении 1963–1968 годов складываются почти все основные и наиболее знаменитые группы классического рок-н-ролла. Связь с эпохой своего рождения эта музыка сохранила навсегда. «Когда будущие поколения захотят уловить дух шестидесятых годов, – писал американский композитор А. Коплэнд, – единственное, что им надо будет сделать, – проиграть пластинки “Битлз”»¹¹². Рок и тогда, и позже вообще никогда не был только музыкой, но, прежде всего, стилем жизни и общественной позицией, понять которые и тогда, и сегодня можно только исходя из других членов единого ряда: рок-музыка – контркультура – культура – общество – история.

Это состояние европейского общества примерно тогда же получило философски публицистическое наименование «постмодерна». Как показывает структура термина «постмодерн», само им обозначенное состояние было воспринято и пережито, прежде всего, через контраст с предшествующим состоянием – «модерном», условно относимым к трем – трем с половиной предшествующим столетиям.

¹¹² *Connolly R.* John Lennon. 1940–1980. A Biography. London; New York, 1991. Обратим внимание, что признание это и все сказанное о роке далее относится к концу 1980-х годов, когда популярность рока начала спадать, но ощущение роли, им сыгранной, как начала эпохи оставалось по-прежнему живым.

ям. Первоначалом истории и культуры в рамках постмодерна, их исходной клеточкой и реальной единицей является человеческий индивид во всем своеобразии и неповторимости его эмоционально своевольного «я». Поэтому любая общность, не оправданная таким индивидом для себя внутренне, любая коллективная норма и общее правило выступают по отношению к нему как насилие, репрессия, от которых он должен стремиться освободиться. На философском уровне такой внешней репрессивной силой признаются логика, логически функционирующий разум, основанное на них понятие объективной и доказуемой истины. «Разум – союзник буржуазии, творчество – союзник масс»; «Забудьте, все, что вы выучили, – начинайте с мечты» – эти надписи появились в том же мае 1968 года на стенах Сорбонны в Париже¹¹³.

На уровне общественном и государственном постмодернизм видел в современных западных странах капиталистический истеблишмент, управляемый буржуазией в своих интересах и потому подлежащий если не уничтожению, то, во всяком случае, разоблачению. Свообразное манихейство, т. е. усмотрение в любой отрицательной стороне действительности результат чьей-то сознательной злой воли, присутствует в большинстве текстов и устных выступлений философов, публицистов и вообще ревнителей постмодернистского направления. Отсюда отрицательное отношение к европейской культуре традиционного типа, с XVII века и до современности, к европейской действительности, образу жизни и нравам. На взгляд тех же ревнителей, такая культура и такой жизненный уклад, в конечном счете, отражают волю «властей», насаждающих в обществе образ действительности, ценности и мораль, им выгодные. Поэтому ни государственные акты и мероприятия, ни культура и искусство современного западного мира не являлись тем, за что себя выдавали. Социальная защита, гуманизм, славные традиции, великое наследие – все это попытка скрыть за возвышенными словами лживое содержание и заслуживающая поэтому лишь разоблачения и насмешки.

Особенно актуальной и необходимой признавалась в умонастроении, порожденном постмодерном, борьба против всех видов национального, социального или культурного неравенства. Подчеркивалась

¹¹³ Les murs ont la parole. Journal mural mai 68. Sorbonne, Nanterre. Citations recueillies par Julien Bésançon. Paris, 1968. P. 61, 97.

недопустимость признания одной части общества более культурной, чем другие. Отсюда темпераментное разоблачение всех видов расовой, национальной, социальной или культурной иерархизации и, прежде всего, европоцентризма, и стремительное распространение в качестве непреложной нормы так называемой политкорректности. К этой сфере постмодернистского мирозерцания относится обостренное переживание дихотомии «свой – чужой». Исходя из убеждения в неизбежном перерастании любой сверхличной структуры в тотальную, подавляющую общность – убеждения, основанного только на опыте европейских стран и не допускающего распространения на другие районы земного шара, – постмодернизм воспринимал и воспринимает дихотомию «свой – чужой» только как конфликтно-репрессивную. За ней усматривалось стремление тех, что признаны «своими», навязать тем, что признаны «чужими», собственную систему ценностей.

Вся обрисованная общественно-публицистическая и культурно-философская система в целом, но особенно отчетливо именно в этой последней своей части образовала тот «люк», через который постмодернизм воспринял второе слагаемое «нашего времени» – глобализацию, и слился с ней.

Глобализация, как таковая, представляет собой экономический процесс, отмечаемый с конца XIX века, состоящий в вывозе капиталов к рынкам сырья и дешевой рабочей силы и позволяющий снизить расходы на производство с последующим облегчением распространения готовой продукции. Глобализация такого рода осуществлялась в основном в рамках колониальной экономики, т. е. исходила из (и «от») европейских стран. В настоящее время такая глобализация в корне изменила свой характер. Она расширила сферу своего действия практически на всю территорию земного шара, не охваченную странами высокоразвитого производства, и предельно расширила свое содержание, включив в него геополитические проблемы, проблемы демографии, культуры и системы ценностей, проблемы мультикультурализма и идентификации. В таком своем смысле применительно, прежде всего, к Европе глобализация стала одной из коренных характеристик «нашего времени».

Прежде всего, принципиально другим стало само направление процесса глобализации. Отныне он не сводится к распространению

центров производства на так называемые отсталые страны, а напротив того, стал неотделимым от массовой иммиграции из подобных стран в страны высокого уровня развития производительных сил и высокого уровня жизни. Это привело, с одной стороны, к насыщению жизни старых культурных центров и областей этнически и культурно инородным населением, к возникновению проблемы их идентификации и к обострению своего рода конкуренции между «своим» доевропейским укладом и укладом собственно и исконно европейским. «Конкуренция» такого рода осложняется эмоциональными обертонами. Иммигранты считают себя обманутыми, видя, что не все традиционные, локальные и исторические преимущества местной жизни распространяются на них, а местное общественное мнение задается вопросом, в какой мере средства, полученные от налогов, должны использоваться для поддержки и обеспечения лиц и масс, не участвующих (во всяком случае, в полной мере) в создании национально-государственного богатства принимающей страны. Весь этот сложнейший и напряженнейший комплекс проблем живет в атмосфере неолиберализма и политкорректности, которые требуют их решения на основе неограниченной «открытой» демократии, только при этом условии признаваемой «подлинной» т. е. противостоящей национализму и фашизму.

Сегодня очень важно выяснить, в какой мере сохраняются те три изоморфных силы, которые были унаследованы Европой от античного Рима, которые веками жили в ней – постоянно меняющиеся и постоянно те же, и которые образовывали ее глубинную суть. Их составляли, как мы помним, своего рода канон, т. е. консерватизм, корректируемый обновлением; экспансия, сосуществующая с верностью с исходным ядром и обликом; индивидуализм, сосуществующий с группой и предполагающий микромножественную структуру общества.

Канон

Сложная амальгама, которая скрывается за приведенным словом, включает в себя высокую оценку устойчивости общественных отношений и общественной структуры в целом, уважение к традиции и, в известной мере, к воплощающим ее социальным верхам,

признание особой ценности за *культурой* как залогом престижности положения, с нею связанной. Так обстояло дело, как мы убедились, с общественной атмосферой в античном Риме и в Европе, связанной с ним своим происхождением. В первые послевоенные десятилетия XX века амальгама эта при сохранении за нею перечисленных смыслов окутывается особым облаком коннотаций, в котором сами эти смыслы начинают вызывать радикально иной и в целом отрицательный подход. Сначала облако это стало обозначаться словом *истэблишмент*.

С 1960-х годов оно начало восприниматься как обозначение охраняемых законом и полицией привилегий одной части общества за счет другой, респектабельного конформизма, энергии карьеры и стяжательства. В нем все чаще стали слышаться ноты престижной культуры, благонамеренного шовинизма и официально принятых приличий, которые привычно уживались с умением ловко обделывать свои дела или даже делишки. Истэблишмент предстал не как политическая система, государственный строй или идеология, а скорее как состояние общественной жизни, усложнившейся настолько, что официальные нормы утратили свою прямую, очевидную и общепринятую связь с внутренними, лично пережитыми моральными представлениями каждого, увиденное глазами людей, переживавших подобное состояние особенно остро и болезненно. Людей с развитой индивидуальностью и потребностью в демократизме, который согласен эту индивидуальность учитывать.

Такое отношение к канону как истэблишменту развернулось как знамя, в частности, с первых же лет рок-движения. Оно нашло себе выражение в манифестном «The True Gentleman» группы Kinks, в демонстративном маскараде первого поколения панков, в ретроспекции 1980-х – в декларациях, вроде следующей. – «Что-то исчезло, что-то неуловимое, неписанный кодекс чести, устанавливавший, что “они” противостоят “нам”. Я не очень знаю ни кто такие “они”, ни, по правде говоря, кто такие “мы”, но я уверен, что есть “они” и есть “мы” и что я против них, кто бы они ни были»¹¹⁴.

Возникшее отсюда понимание канона и его эволюции опирается на протяжении последних 30–40 лет на бесчисленное количество ис-

¹¹⁴ Trois étoiles // Rock and Folk. Juillet août. 1987. P. 47.

точников, к которым нам по мере возможности предстоит обращаться. Но среди них – источник основополагающий и особого рода, во многом суммирующий материал и распространенные тенденции. 30 апреля 2006 года «Brussels Forum» опубликовал стенограмму весьма представительного «круглого стола», проведенного брюссельским международным Центром по изучению политики в области иммиграции, интеграции и гражданства. В ходе его высказались депутаты Европарламента, члены конгресса США, ученые, специально занимающиеся изучением проблем, нас здесь интересующих. Вскоре нам придется вернуться к этому источнику и рассмотреть его более пристально. Пока что ограничимся высказанным там мнением, которое было поддержано значительной частью участников встречи. «Если вы выйдете на улицу и спросите любого прохожего, считает ли он себя европейцем, большинство посмотрят на вас с удивлением и ответят, что они не понимают, про что вы спрашиваете. <...>. Если нет европейцев – нет европейской идентичности. Единство Европы некогда основывалось на общности религии, разделяемой всеми. Но то было в Средние века. Потом место религии заняла культура – искусство, философия. Они несли в себе высшие ценности, и люди признавали в себе “своих” и через это идентифицировались. Но культура утрачена. Университетов больше нет. Мы разделились с ними в шестидесятые, а за ними развалилась и вся инфраструктура культуры. Так вот результат – если не с чем идентифицироваться, то, значит, людям, приезжающим из Турции или Марокко <...> действительно идентифицироваться не с чем»¹¹⁵.

Еще один пример, уже непосредственно касающийся «канона» в его культурно-практическом смысле. В московском журнале «Неприкосновенный запас» (1999, № 2) напечатаны материалы дискуссии о преподавании литературы в университетах США. Участники дискуссии – почти целиком по происхождению не американцы и реализуют в своей преподавательской деятельности принципы, поддерживаемые в настоящее время и в Европе, и в России. Вот некоторые выдержки, дающие представление об основном направлении дискуссии. «Любая культура – “мульти”, нет однородной культуры, она всег-

¹¹⁵ Culture, Identity, and Integration: A New Transatlantic Challenge. Transcript // Brussels Forum. April 30, 2006.

да дифференцируется внутри себя. Этот момент и позволяет нам вообще пользоваться ею, чтобы понять дифференциальную структуру культуры, истории, собственной национальной идентичности» (Д. Кунджич, заведующий русской кафедрой университета г. Мемфис). «Каждый профессор создает свой собственный канон, основанный на литературе меньшинств, либо на его собственных эстетических пристрастиях. Но при такой веселой децентрализации возникает проблема общего культурного текста» (С. Бойм, профессор кафедры компаративистики и славистики Гарвардского университета). «Студенты осмысливают нужный им текст через свой опыт и свои культурные ценности. <...>. Основа личного подхода к тексту – осознание разнообразности и фрагментированности современного американского общества» (О. Магич, профессор кафедры славянских языков и литератур Калифорнийского университета, Беркли).

Обе тенденции разворачиваются на фоне процессов крайней подвижности общественной жизни, массовых миграций, в том числе нелегальных и полуполигальных. Перемещение значительной части населения из одного города в другой, из одной страны в другую ради обретения лучше оплачиваемой работы также происходит повсеместно – из Латвии или Польши, например, в Англию, из Англии или Голландии, например, в Соединенные Штаты. В этом же направлении все более реально осуществляются Болонские соглашения. Поступление в тот или иной иностранный университет во многих (не хочется говорить: в большинстве) случаев вызвано не столько интересом к преподаваемым предметам и уровню их преподавания, сколько перспективой более выгодного трудоустройства. Вся эта ситуация, когда она еще только складывалась, заставила Пауля Бергера в свое время признать то, что он назвал «аномией» («исчезновение законов, норм и правил, устойчивых величин, их признающих»; др.-греч.), определяющей чертой современной структуры общественно-исторического и социокультурного бытия Западной Европы¹¹⁶: «современность отмечена бездомностью».

Исчезновение того, что мы договорились называть каноном как основой изоморфности глубинных культурно-исторических структур Европы и античного Рима, явствует не только из перечисленных

¹¹⁶ Бергер П.Л. Социалистический миф // Социологические исследования – СОЦИС, 1990. № 7. С. 136.

фактов, но и из отношения к ним. Движение от исторически национального государства, от национально-государственного и культурно-языкового самосознания и ценности к ослаблению их во имя мультикультурализма и политкорректности признается формой самоутверждения Европы, ее самосохранения на пути и в виде прогрессивного развития. Европа без канона и Рима, без пятнадцати веков культуры и истории, как выясняется, – лучшая, более европейская Европа, нежели была та, с канонами, Римом и пятнадцатью веками. Вернемся ненадолго к нашему «транскрипту»; нет оснований сомневаться, что за каждой позицией, в нем утверждаемой, ощущаются и стоят массивные пласты европейского общественного мнения.

Говорит *Дэниель Кон-Бендит*, «рыжий Дени», бунтарь 1968 года, а ныне вполне благополучный депутат Европарламента. «Эти интеллектуалы, которые твердят, что Европа больше не существует, невыносимы. Если бы они видели Европу, какой она была пятьдесят лет назад, когда мы только что вышли из войны, где разрушали и уничтожали друг друга!.. Сегодня границы между Францией и Германией больше нет. Вы едете из одной страны в другую без участия полиции, без проверки документов. Это – цивилизация, которая движется вперед». Ему возражает *Боб Римен*, руководитель и основатель исследовательского центра по проблемам идентификации. – «Суть Европы – это ее дух, ее живая душа, та, с которой можно быть и стать единым; если угодно: идентифицироваться. В послевоенной Европе было немало умных и мужественных людей, которые понимали, насколько трудным будет путь вперед. Они знали, что на протяжении истории Европы в ней европейцев было всегда ничтожное количество. Путь этот оказался заблокированным и разрушенным бюрократами, полицейскими. Начали они с того, что уничтожили университеты, так что дух Европы выращивать стало негде. <...>. И все эти разговоры про то, что в основе европейской идентичности лежат общие ценности... Если эти ценности не воспитывать, а воспитывать их негде, поскольку вся инфраструктура больше не существует, а есть только одни бюрократы, которые мыслят только юридическими терминами, паспортами и т. д., то не удивляйтесь, что прохожие на улице не могут признавать себя европейцами. Соответственно, когда люди иммигрируют, они скоро обнаруживают, что они не более чем наемные рабочие, и какое общество их здесь окружает, вообще не очень понятно».

В разговор включается *Пэтрик Вайль*, директор Европейского центра по иммиграции, интеграции и гражданству. – «У огромного количества европейцев в кармане та же валюта, те же деньги. Огромное количество европейцев переезжают в другие страны. Вчера я прочел во французской газете, что через десять лет число английских граждан, переезжающих во Францию, возрастет вдесятеро. Нас сейчас полмиллиона англичан, живущих во Франции. Десять лет назад нас было 50 тысяч. А в Англии сейчас немало французов. Так что...». *Коэн*, председательствующий. – «Да, огромное количество молодых людей во Франции найти работу не могут». *Вайль*. – «Именно. Так в этом все дело. Они пользуются своими паспортами, чувствуют себя людьми того же гражданства, потому-то они могут ездить, могут переезжать. А десять лет назад положение было совсем другим. Мне больше сказать нечего. Это и есть то направление, в котором мы движемся».

В этом обмене мнениями суммирована самая суть, исходная суть проблемы, которую мы анализируем и которой посвящены настоящие заметки. Полторы тысячи лет Европа, вышедшая из античного Рима и переплавившаяся из него, была бесконечно многообразна. Но полторы тысячи лет в своей глубинной основе (которую, наверно, сознательно и воспринимало то самое «ничтожное количество» европейцев в Европе) она была той, весьма условно говоря, римской Европой, которую мы подробно описали в первой части. Нам остается проверить, действительно ли ее нет, как именно исчезает она на наших глазах и что с нею ушло из мира, в котором мы остались жить.

Наука. Литература. Кино

Наука. Выше, в первой части нашего анализа, обозначилось то глубокое изменение в восприятии антично-римского наследия, которое произошло в середине XIX столетия. Оно состояло в модуляции этого восприятия, из культуuroобразующей широчайшей сферы искусства, государства, политики и права, философии истории, в сферу академической и университетской науки. Путь, открывшийся перед академической и университетской наукой, ознаменован прогрессом строго проверяемых знаний и впечатляюще точными объективными

результатами, достигнутыми большими учеными. Он длится до сих пор, и задача будет состоять в том, чтобы предложить краткий обзор результатов, достигнутых в наши дни. Такого рода обзор предполагает учет книжных публикаций, но непосредственный ход исследовательской мысли находит себе отражение в научной периодике. В первую очередь здесь должно быть названо единственное в своем роде издание, целиком специализированное на проблемах античного наследия в культуре Европы, – «Международный журнал по классической традиции»¹¹⁷. На его материалах нам и предстоит сосредоточиться в первую очередь.

Для начала сосредоточимся на эмпирических исследовательских обращениях к частным вопросам античной рецепции в культуре Европы. Несмотря на глубокие изменения в характере мирового университета, происходящие в наши дни и связанные с глобализацией экономических процессов, с коренной перестройкой рынка труда, наука остается наукой. Потребность в частной, конкретно доказуемой истине остается инстинктом определенной части общества, и оно – пока что – позволяет себе эту потребность удовлетворять и в сфере антично-римских рецепций. Вот несколько примеров.

Примечательна, например, работа преподавателя Каннского университета Луи Каллеба, посвященная восприятию Витрувия в Средние века и в раннем Возрождении¹¹⁸. Скрупулезный анализ обнаруживает интерес авторов архитектурных текстов уже XIV века не только к техническим и профессиональным деталям строительного ремесла, но и начитанность их в античных текстах, внешне, казалось бы, отношения к архитектуре не имеющих, как сочинения Евклида или Платона. Сопоставление столь разнородных источников дает основания Каллеба нащупать в глубине раннеренессансной мысли представление об архитектурном сооружении как некоторой «конструкции идеала», опирающейся на диалектику в античной философии платоновских идей-образов и соответствующей им материальной реальности.

¹¹⁷ International Journal of the Classical Tradition. IJCT – the Official Journal of the International Society for the Classical Tradition. Edited at Boston University, 1994 sq. Далее – IJCT.

¹¹⁸ *Callebat L.* La Tradition Vitruvienne au Moyen Age et à la Renaissance // IJCT. 1994. I, № 2.

В «Прологе» к так называемой «Халберштадтской книге», созданной в Северной Германии в XIII веке религиозным сообществом людей, называвших себя каландами и исповедовавшими свой вариант католичества, довольно много говорится о теме дружбы, сплачивающей людей. Анализ этого текста позволил автору – Анетте Шмидт-Эрлер – впервые обнаружить в нем следы начитанности каландских проповедников в многообразных трактовках темы дружбы у античных писателей от Цицерона до Августина и еще раз нащупать связующие нити средневекового христианства с антично-римской традицией¹¹⁹.

Русскому читателю особенно интересной покажется пространная статья оксфордского преподавателя Стефании Вест «Отражения Тацита в “Мастере и Маргарите”»¹²⁰. Образ Понтия Пилата написан Булгаковым в соответствии с текстом Тацита. Однако карьера Пилата до того, как он стал прокуратором Иудеи, у Тацита на источники не опирается и представлена в тексте романа Булгаковым во многом самостоятельно.

Этюды вроде трех приведенных выше – а число их может быть многократно умножено – характерны не только для журнала, но и для науки о Древнем Риме конца XX – начала XXI веков. В ней сохраняется идущая из XIX века установка на тщательный разбор источников, на более или менее полный охват научной литературы, касающийся избранной темы, короче – на верность науке. В ней и сегодня нередки более или менее существенные открытия определенных сторон истории и культуры изучаемой эпохи¹²¹. Нам еще не раз придется в этом убедиться. Убедиться, однако, приходится не только в этом. Вернемся на минуту к «Мастеру и Маргарите».

¹¹⁹ *Schmidt-Erler Anette*. De amicitia et charitate. Fortwirkung alttestamentlicher, antiker und spätantiker Freundschaftsvorstellungen im Halberstädter Kalandsprolog // ИЖТ. 1995. II, № 1.

¹²⁰ *West Stephanie*. Tacitean Sidelights on The Master and Margarita // ИЖТ. 1007. III, № 4.

¹²¹ Примером может служить хотя бы важная и глубокая статья Дитриха Харта «Феномен памяти в науках о культуре и классическая традиция. Память и забвение» – *Harth Dietrich*. Das Gedächtnis der Kulturwissenschaften und die klassische Tradition; Erinnern und Vergessen im Licht interdisziplinärer Forschung // ИЖТ. 1994. II, №3.

Префект претория Афраний Бурр при Нероне описан Тацитом не без симпатии и входит в созданную им галерею образов «людей третьей силы», честно выполнявших свой долг, стараясь не примыкать ни к прислужникам императорского режима, ни к оппозиции. Булгаков называет его просто Афранием, в нарушение хронологии и римских обыкновений переносит его деятельность в Иудею и в эпоху Тиберия и укрупняет образ «честного стража режима», явно заимствуя краски для его изображения, скорее, из реальности, окружающей автора романа, нежели из реальности античного Рима.

В «Международном журнале по классической традиции» представлена именно эта тенденция, характерная для современных рецензий антично-римского материала в значительно большей мере, чем для предшествующих периодов нашей науки. Складывается впечатление, что импульсы к отбору материала для исследования чаще идут из современного состояния общественного мнения, нежели из современного состояния академической науки.

Такова статья того же гейдельбергского профессора Дитриха Харта «Рождение античности из духа модерна»¹²². Основная ее мысль состоит в том, что в эпоху постмодерна античность начинает восприниматься как ярлык «западноевропейскости» с последующей актуализацией этого уравнения в отрицательном смысле в виде пренебрежения к внеевропейским культурам, или, наоборот – в виде превознесения Европы и всего европейского как «своего»¹²³. Тем же импульсом вызвана статья Фолькера Риделя. «Стабилизация, критика и деструкция. Размышления о восприятии античности в литературе ГДР», где речь идет о восприятии античных материалов различными авторами в Германии 1940-х – 1980-х годов в зависимости от отношения их к режиму, существовавшему в стране¹²⁴.

¹²² Harth Dietrich. Über die Geburt der Antike aus dem Geist der Moderne // ИСТ. 1994. I, № 1.

¹²³ См. в первую очередь, ИСТ. 1994. I. №1. P. 92, а также в том же номере статью Джорджа Кеннеди «Меняющееся восприятие классической парадигмы: “То же” и “Другое”» (*Kennedy George A. Shifting Visions of Classical Paradigms: the “Same” and the “Other”*).

¹²⁴ Riedel Volker. Stabilisierung, Kritik, Destruktion. Überlegungen zur Antikrezeption in der Literatur der DDR // ИСТ. I, 2.

Указанное направление в восприятии античного наследия представлено в международном журнале, специализированном на подобном восприятии, и в ряде последующих статей вплоть до сравнительно недавних. «Воздух времени» все более явственно ориентировал труд историков по силовым линиям общественного и культурного сознания-пространства, пока сама тема антично-римского наследия не влилась в атмосферу эпохи. В значительных исторических исследованиях все чаще сквозь античный материал в той или иной степени прочитываются свидетельства того самого слома полутора тысячелетней римской Европы, в котором она отчетливо перестает быть «римской». При желании в этом процессе можно видеть отступление «серьезной науки» перед общественно-философской публицистикой – размышлениями о переживаемом времени. Лучше, впрочем, видеть, как они обе, подчиняясь внутренней логике развития самой науки, становятся неразличимы в ее собственных пределах и собственном движении.

Остановимся на нескольких исследованиях, теперь уже не журнальных, а книжных, это подтверждающих. При просмотре текущей научной литературы на себя обращают внимание три направления, к которым она тяготеет.

Это, прежде всего, проверка и перепроверка фактических данных, призванных, на уровне сознательной установки, закрепить бесспорную научно достоверную картину древнеримской действительности. На уровне *подсознательной* установки такая проверка и перепроверка ведет (или должна привести) к расхождению живущего в европейской традиции образа Рима с его объективной фактически удостоверенной реальностью, т. е. обнаружить иллюзорность такого образа. Убедительной иллюстрацией этого направления может служить сборник исследовательских статей «Рим – космополис»¹²⁵. Сборник составлен учениками, продолжающими традицию Мозеса Финли – известного американско-английского антиковеда середины XX века. Позволим себе привести его афоризм, который в книге Эдвардс и Вулфа не упоминается, хотя вполне мог бы служить к ней эпиграфом. – Историки Рима, исследовавшие его в XIX – XX веках, «внесли в науку столько от Алисы в стране чудес, что возникает необхо-

¹²⁵ Rome the Cosmopolis / Ed. C. Edwards, G. Woolf. Cambridge Univ. Press, 2003. 249 p.

димось ясно высказать некоторое количество очевидных истин»¹²⁶. Дабы проверить, как выполняется требование наставника – прямого или косвенного – большинства авторов сборника, целесообразно остановиться на двух статьях, где «некоторое количество очевидных истин» исследуется наиболее квалифицированно, объективно и научно релевантно. Мы имеем в виду статьи Вальтера Шейделя «Микробы для Рима» (Р. 158–176) и Виллема Йонгмана «Рабство и рост Рима» (Р. 100–122); см. примеч. 125.

Каждый, кто занимался античной историей, знает, что наиболее уязвимая сторона полученных результатов связана с более или менее полным отсутствием надежной статистики. Шейделю и Йонгману удалось справиться с этой опасностью и представить ту сторону римской реальности, которая до сих пор мало привлекала внимание историков. Выясняется, что в условиях скученности и антисанитарии, царивших в древнем Риме, пик смертности по данным надгробных надписей приходился на возрастную группу от 5 до 20 лет. По тем же данным месяцами повышенной смертности были сентябрь и октябрь, что находит себе наиболее вероятное объяснение (встречающееся и в источниках) в характере причин смертности – малярии (сильно превосходящая все остальные причины), туберкулезу и проказе. В этих условиях «превышение смертности над рождаемостью систематически составляло в Риме 60 на тысячу или даже превосходило эту цифру» (Р. 174–175). При систематическом и очень значительном общем росте населения: около 150 тысяч в 200 г. до н. э., около 600 тысяч на рубеже новой эры, миллион при Флавиях, т. е. в конце I в. н. э., – такие показатели смертности предполагали постоянный приток пришлых людей. Исходя из приведенных данных, получается, что за 100 лет население Рима должно было сокращаться на 60%. Если на самом деле оно росло вдвое, значит, приток новых людей, чтобы компенсировать убыль и обеспечить прирост, должен был составлять не менее 350%!

Эти выкладки приводят к выводу, который в обеих названных статьях выражен менее настойчиво и прямо, нежели в материалах сборника в целом, но просматривается, в общем, с достаточной очевидностью и здесь. Он состоит в существовании в Римском государ-

¹²⁶ *Finley M.* Empire in the Greco – Roman World // Greece and Rome. 2nd Ser. 1978. Vol. 25, № 1.

стве общей атмосферы насилия, отчуждения, примитивной грубости и нецивилизованности, которая по общему направлению книги и должна указывать на насильственность и потому искусственность включения в Римское государство разнородных и чужеродных этнических элементов.

Такой вывод двойственен. С одной стороны, он подтверждается материалами, которые в наши дни все более активно входят в современное представление о древнем Риме и составляют вполне реальный вклад в историческую науку. Вскоре нам придется, говоря о видео, остановиться на этой стороне дела. В то же время этот вывод прямо противоречит общей картине, явствующей из исторической науки последних, по крайней мере, двухсот лет. Я имею в виду неуклонную интернализацию римского населения и римского гражданства, которая, однако, никак не деформировала направление римского исторического процесса. Открытость и межплеменной характер были характерны для римского гражданского коллектива еще в эпоху Ромула. Распространение гражданства – процесс постоянный, продолжавшийся со времен Ранней республики и до конца Раннего принципата (см. ниже рассуждения на эту тему Бориса Джонсона). Римский нобилитет, начиная со II века до н. э., представлял собой сплав исконно римских родов с пришлыми. Намогильные надписи города Рима содержат три четверти имен не италийского происхождения. Из 1854 римских ремесленников, которые были известны археологам к началу XX века, не более 65 несомненные италийцы; потомственных римлян, насколько можно судить, вообще не видно. К середине II века относится известный афоризм: «Рим – это республика отпущенников».

Как совместить все это с картиной империи, население которой гибнет от эпидемий и захлебывается в «микробах для Рима»? Совмещать, однако, приходится. Отвлечемся от манеры авторов сборника как бы парить над хронологией, совмещая в едином образе данные по самым разным периодам. Примем, что цифры Шейделя и Йонгмана точны и, во всяком случае, указывают на порядок величин. Так или иначе, из сопоставления их материала с общепринятыми и не вызывающими сомнения данными источниками и историографической традиции следует, что массовый приток peregrini в Рим не мог дезорганизовать жизнь и ее самовоспроизводство в столи-

це. Резервы поступательного развития в рамках данной социально-экономической системы оказались на поверку настолько крепкими и эффективными, что никаких оснований рассматривать космополитизацию Рима как признак универсального кризиса условий жизни и общей ее атмосферы не остается. Отец церкви Тертуллиан, при всей сложности и противоречивости его отношения к империи, меньше всего был склонен не замечать ее коренных пороков. И, тем не менее, он ощущал то, что ощущал. – «Весь мир теперь доступен каждому, жизнь становится все удобнее, а дома все прекраснее. Везде можно проехать, все узнать, везде кипит работа».

«Алиса в стране чудес» динамична и адаптивна. Страна чудес предстает в каждую эпоху изучения несколько иной. Это наслоение эпох познания и обликов познаваемого и образует то, что мы с основаниями называем исторической истиной. В этом смысле она, действительно, динамична. Но она еще и адаптивна в том смысле, что в каждую эпоху адаптируется к атмосфере времени. Отношения между динамикой и адаптацией складываются, так сказать, по Гегелю. Объекты познания выстраиваются в движении и как таковые сохраняются, но в этой сохранности живут, меняясь под более или менее проникающим воздействием адаптирующей энергии воспринимающей эпохи. В эпоху, нами сегодня переживаемую, ее адаптирующая энергия особенно остра, а в том, что касается древнего Рима, как истока европейской культуры, остра вдвойне. В упомянутых статьях динамично обнаруживаются стороны изучаемого объекта в его истинности. Но напряженная энергия адаптации постоянно присутствует в них – в объекте как таковом и в его истинности – и, заложенная в характере времени, нарастает в научных интерпретациях все больше. Особенно ясным примером является следующий объект нашего рассмотрения – книга Реми Брага «Европа – римский путь»¹²⁷.

Основная мысль книги состоит в следующем. Исторический корень европейской цивилизации – древний Рим. Суть цивилизации и истории Рима – его открытость. На протяжении тысячи лет незначительное поселение на заболоченном берегу Тибра неудержимо росло и

¹²⁷ *Brague Rémi*. Europe – la voie romaine. Paris: Critérior, 1992. Русский перевод – Долгопрудный, 1995. Отсылки далее даются по русскому изданию.

ширилось, покоряя и вбирая в себя все новые племена и народы и обогащаясь их опытом. Специфика Рима в том, что он постоянно утрачивал свою исходную, собственно римскую специфику, неуклонно переставал быть самим собой, чтобы раствориться в бесконечном этническом и культурном многообразии Средиземноморского мира. Только процесс *утраты* самого себя и означал для Рима «быть самим собой». Европа идет по «римскому пути» в том смысле, что принцип ее цивилизации – тот же: постоянная открытость, самораспространение на все новые территории и самообновление за счет поглощения новых типов культуры, новых культурных миров – прежде всего арабо-исламского и христиански-библейско-иудейского. Быть Европой означает то же, что быть Римом, – неуклонно выходить за свои границы, растворять свое историческое ядро и изначальный смысл культуры в бесконечности окружающего мира, быть собой лишь в процессе утраты себя, в вечном стирании грани между «своим» и «чужим».

«Утверждение, согласно которому мы – римляне, направлено прямо против утверждения, согласно которому мы можем идентифицироваться с великими предками. Дело не в том, чтобы претендовать, а в том, чтобы отказаться. Признать, что ничего мы, в сущности, не открыли, а лишь сумели проложить обводный канал, дабы поток, что начался из бесконечного далека, мог течь дальше»¹²⁸. «Европейская культура, строго говоря, никогда не может считаться “моей”, ибо она представляет собой всего лишь путь, снова и снова восходя по которому к истокам, убеждаешься в том, что они лежат вне ее»¹²⁹. «Источник Европы лежит вне ее. Именно это обеспечивает ей возможность выживания. Нехорошо постоянно, снова и снова, убеждать себя в «величии своего славного прошлого», ибо «поддаешься соблазну объяснить все тем, что “другой” очень уж посредственен, не заслуживает внимания»¹³⁰.

В книге «Европа – римский путь» контроверза «свой – чужой» обрисовывается как одна из центральных контроверз в «диагнозе нашего времени». После всего сделанного исторической наукой на

¹²⁸ Там же. С. 85.

¹²⁹ Там же. С. 110.

¹³⁰ Там же. С. ?? .

протяжении двух последних веков – XIX и XX, – после тех элементарных констатаций, которые приведены в первой части нашей работы, нельзя не признать очевидности. – Реми Браг не исходит из фактов самих по себе, «снизу», но постоянно организует и корректирует их «сверху» по нравственному императиву, заданному постмодернистской матрицей. «Европейская культура, строго говоря, никогда не может считаться “моей”». Почему? Потому что она представляет собой ценность, признание же такой ценности «моей» предполагает, что «другой», не связанный с антично-римской традицией, ее лишен, а значит, дискриминирован и репрессирован, что с нравственной и политической точки зрения недопустимо.

Нам остается добавить, что постановка проблемы в книге Брага соответствует если не общеизвестным фактам, то общественно-философской атмосфере сегодняшней Европы; если не распространенному научному мнению, то его публицистической ауре. Книга явно пользуется и продолжает пользоваться успехом. Она переведена на ряд языков. Автор выступает в качестве *Gastprofessor* в других университетах, в частности, Мюнхенском, и расширяет свое видение культурно-исторического процесса, изложенное в «Европа – римский путь», до масштабов общей философии истории¹³¹.

Из трех книг, избранных нами для анализа, каждая воплощает определенную сторону современной науки и указывает на характер восприятия римского наследия современной культурой Европы. В первом случае это была тенденция разоблачительная, где научная истина, бесспорно, присутствует, но интерпретируется таким образом, чтобы раскрыть искусственность и устарелость традиционного образа Рима. Во втором случае это была тенденция политкорректная, которая научного содержания лишена, но рельефно высвечивает одно из восприятий римского наследия публицистическим и морально-политическим общественным мнением Европы 1980-х – 2000-х годов.

¹³¹ См. сочувственную рецензию в ИЖТ (2005. XII, № 2. Р. 277–289) на публикацию книги: *Brague Rémi. The Wisdom of the World. The Human Experience of the Universe in Western Thought* – в английском переводе: Chicago; London, 2003. Более развернутый анализ книги Брага «Европа – римский путь», с точки зрения ее прямого содержания и ее «подведомственности» постмодернистской атмосфере, см. в работе автора «Местоимения постмодерна» (М.: РГГУ, 2004).

В третьей книге наиболее полно представлен главный вопрос, делающий опыт Римской империи актуальным для сегодняшней Европы. Речь идет о книге Бориса Джонсона «Римская греза»¹³².

Автор с самого начала формулирует исходную проблему, которая лежит в основе и его книги, и ситуации в Европе, формулирует настолько полно и внятно, что это делает несколько выписок необходимыми. Тем более что проблема эта остается главной и для исследования, которым мы занимаемся.

«Удалось ли римлянам преодолеть злобное чувство национальной особенности? Если да, то как они этого добились? Как смогли они заставить людей приобщиться к европейской идентичности – римской идентичности, – тогда как нам сегодня это так трудно сделать? Настоящая книга представляет собой попытку найти ответ на этот вопрос»¹³³.

«Со многих точек зрения Европейский Союз может рассматриваться как наследник Римской империи, т. е. как сила, стремящаяся придать единство огромной и разнородной территории наподобие того, как это сделали римляне, – обеспечить общий рынок, единую валюту и политическое единство. Разница, разумеется, состоит в том, что мы добиваемся этого не путем насилия и кровопролития, а на основе мирной договоренности, предполагающей торговлю и квалифицированное большинство в ходе голосования в Совете министров.

Беда в том, что это начинание, такое значительное и, в известном смысле, такое благородное, не всегда находит поддержку. Оно не демократично. Оно пробуждает враждебное чувство даже среди французов и голландцев, входивших в число основателей ЕС, а в 2005-м отвергших предложенный проект Европейской конституции. Поэтому мы начали нашу книгу с рассказа об Арминии и о предательстве человека – с его римским воспитанием, с его открывавшимися в Риме возможностями, со всем, что предоставлялось ему в Римской империи. Арминий – символ всего, что Европейский Союз был призван преодолеть: дух национализма. Он воплощает неодолимое желание людей, чтобы они управляли собой сами, или управлялись хотя бы людьми той же расы или, по крайней мере, го-

¹³² Johnson B. The Dream of Rome. London: Harper Press, 2006. 210 p.

¹³³ Ibid. P. 2.

ворящими на том же языке. <...>. В течение 400 лет после поражения в Тевтобургском лесу римляне продолжали управлять своей империей, и империя их длилась дольше, была более мирной и более успешной, чем любая другая империя в истории. Вопрос, который меня всегда волнует, состоит в том, как они сумели это сделать, как они сотрудничали с племенами и народами, ими покоренными, как они обеспечили поразительное единообразие *e pluribus unum*?»¹³⁴.

Последующее изложение строится как ответ на этот вопрос в виде рассмотрения отдельных сторон Римской империи – как оно было в Риме и как оно не может быть в современной Европе: централизующий и сплачивающий империю императорский культ, гражданство, привлечение к управлению людей из местных элит, налоги как форма консолидации единого хозяйственного организма (*Pax means tax*), единая валюта, игры как форма *suī generis* сплочения масс. Отличие империи Рима от современной Европы производно от настойчиво повторяемой главной мысли книги. – Подрыв единства за счет ослабления единой власти императора и ее символики – особенно в кризисе III века н. э. Многообразие варварского мира сказалось здесь, в частности, в невозможности обеспечить единство, например, готов, вандалов и – римского аппарата. Особую роль Джонсон отводит христианству как альтернативному единению сравнительно с единением имперским, прежде всего, в виде этики пострадавших и непреуспевших на фоне этики «непрестанного состязания между носителями самоутверждающегося мужского мужества (*ceaseless competition between macho males* – P. 189)».

Как видим, здесь мало нового – даже сравнительно с наукой XIX–XX веков. В качестве нового предстает нечто другое: исчерпание неустойчивого равновесия – неустойчивого, но равновесия – между правовой демократией как нормой, целью и инструментом коренной и постоянной политики европейских держав и – сепаратизмом, коренящимся и обнаруживающимся в социальной психологии, в общественном мнении и формах жизни европейского населения. Римская империя была реальна и воспринимается и ценится в виде наследия европейской культуры как обеспечивающий единство правовой механизм. Потребность в таком единстве реально существ-

¹³⁴ Ibid. P. 22; 26.

вует и постоянно находит себе выражение, хотя бы в деятельности Европейского Союза. Если Джонсон прав, то когда это восприятие ценности кончилось – или начало кончаться – и что и почему приходит на его место? Есть ли здесь осязаемый рубеж?

В качестве примера для обсуждения – два проявления того, что может быть сочтено таким рубежом: роман Йена Пирса «Сон Сципиона»¹³⁵ и сериал Би-би-си «Рим»¹³⁶.

Книга Пирса – это роман-притча о единстве европейской цивилизации, проистекающем из ее антично-римского корня. В нем три действующих лица – Жюльен Барнев, умерший 18 августа 1943 года, Оливье де Нуайен, родившийся в 1322 году и Манлий Гиппоман, епископ середины V века. Все они, так или иначе, связаны с римско-французским городком Везон-ля-Ромэн (антично-римским Вазиионом). Барнев там живет в своем доме, и неподалеку от городка живет в своем поместье его бабушка, Оливье учился в школе возле собора, Манлий – епископ Вэзонский.

Три главных героя связаны, как вехи истории, целой цепью переключек. Оливье был поэтом, сохранилось несколько его стихотворений, одно из которых – всего десять строк – было переведено в 1865 году Фредериком Мистралем. Переведено оно было очень плохо, но когда оно попало в руки Барнева, средневековая рукопись произвела на него сильнейшее впечатление, так что он посвятил свою дальнейшую литературную деятельность судьбе, любви и творчеству Оливье. Преемственность всплывает постоянно не только между этими тремя персонажами, но и на переходах между ними. Между Оливье и Манлием стоит кардинал Аннибалус ди Чеккани, между Жюльеном и его антично-средневековым прошлым – Сотель. Это тот самый аббат Сотель, который в первые десятилетия XX века восстановил, а скорее создал, историю Вэзона, на которого ссылаются все позднейшие исследователи. Воссозданный им Вэзон – это, прежде всего, античный Вэзон, лежащий в основе всей позднейшей линии, прошитой европейскими деятелями культуры, передающими эстафету от поколения к поколению и принадлежащими к ней.

¹³⁵ Пирс Йен. Сон Сципиона: Роман / Перев. И. Гуровой и А. Комаринец. М.: АСТ, 2005.

¹³⁶ Рим. Полная версия. 22 серии. Kevin McCidd, Ray Stevenson et al. DVD – video.

Эта диалектика концов и начал начинается с Манлия Гиппомана, который, будучи эрудитом в области античной литературы и философии, тем не менее согласился стать епископом Вэзона и прослыл христианским чудотворцем. «Ученому из поколения Жюльена могло померещиться, будто существовали два Манлия Гиппомана. С одной стороны, епископ, иногда упоминавшийся в хрониках, чей культ еще не совсем изгладился из человеческой памяти, тот, кто обратил в христианство евреев Вэзона, тот, на чьей гробнице еще долго после его кончины совершались чудеса, тот, кто оберегал свою паству от бесчинств варваров-захватчиков. С другой стороны – высокообразованный человек, существующий в переписке своих высокообразованных друзей и в «Сне Сципиона». Рукопись этого сочинения Цицерона Манлий нашел в Ватикане, прокомментировал ее, и «комментарий его доказывает, насколько глубоко епископ постиг неоплатонизм, эту сложнейшую из философских систем». Одни восхищались им за его благочестие, другим он был известен изощренностью ума и ученостью, надменным пренебрежением к веку, в котором жил.

Основная мысль книги Йена Пирса состоит в том, что в смене его трех персонажей, в стоящих за ними трех преемственных эпохах культуры Европы, в самом ее антично-римском изводе, постоянно живет конфликт утонченной культуры и разрушительного варварства. Не в этническом, а в социальном смысле. По-видимому, с этой темой связаны обозначенные в начале книги и в ее конце упоминания о фашизме, проходящие связующей нитью рассказы о гибели всех трех героев и общее ощущение завершенности под ударами варварской силы всей прослеженной в книге эстафеты.

Манлий (с. 15) разговаривает со своим другом Феликсом. – «Феликс устало пожал плечами. “Но нам следует попытаться, не так ли? Весь цивилизованный мир под угрозой”. Манлий улыбнулся. “Цивилизованный мир – это ты и я, – сказал он. – И несколько десятков таких же образованных людей. До тех пор, пока мы продолжаем прогуливаться по моему саду рука об руку, цивилизация пребудет”». Манлий умер. Осталось его вилла, в которой сохранилась обстановка, существовавшая здесь в пору его римского культурно рафинированного бытия. Когда он закрыл глаза, вилла была разгромлена. «Статуи были оставлены на своих местах, однако грузчики, простые горожане, возмутились, обнаружив, что почти все они были языче-

скими идолами, гнусным и омерзительным воплощением нечестия. И их-то они опрокинули с пьедесталов и раздробили молотами, чтобы никто не мог их увидеть и осудить их патрона» (с. 23). По той же линии идет разговор Оливье с отцом, который оплачивает его занятия у юриста, потому требует отчета, и когда сын с гордостью говорит, что обнаружил драгоценную рукопись Цицерона, отец бросает ее в огонь как один из пустяков, отвлекающих его сына от занятий.

Европейская цивилизация, реализуемая в утонченной духовности и знаниях элиты, находится под постоянной угрозой не только описанных выше ее противников, но и прямых врагов. Таков входящий в дом Манлия некий Валерий. Манлий «всячески старался не допускать в свой кружок грубых плебеев, вроде Кая Валерия. Но они были повсюду вокруг. Это Манлий жил в мире грез. И его мыльный пузырь цивилизованности [sic!] все сжимался и сжимался» (с. 12). Тот же смысл обнаруживается в согласии Манлия принять сан христианского епископа (с. 17). Таково же описание погрома виллы Манлия после его смерти, предшествующее приведенному выше рассказу об уничтожении статуй (с. 21).

Роман Пирса строится как рассказ о гибели всех трех протагонистов европейской культуры. Смерть Манлия не описана, но такое описание с лихвой заменяет все сказанное о погроме виллы и об уничтожении статуй с добавлением того, как толпа верующих христиан разорвала одежду усопшего, чтобы сохранить лоскутки в качестве чудотворных реликвий, и как сожжена была его библиотека. «Сожгли и почти всю огромную библиотеку. Старинные свитки и заново переписанные кодексы без различия были свалены во дворе и уничтожены – безрассудство, рожденное спешкой. Ведь пергамент можно было бы выскресть и использовать снова. Костер ярко пылал более трех часов, пока его драгоценные Аммиан, Тацит, Овидий, Теренций и Плавт испепелялись и искрами уносились ввысь, дабы чистота их владельца еще ярче воссияла для потомства. Огонь пожрал и его заветные греческие тексты, его Платона и Аристотеля, два экземпляра Софокла, его Ксенофонта. Ни в ком из них никакой нужды не было, а многие поражали непотребством, и все следовало уничтожить» (с. 1–22).

Смерть Оливье скалькирована с расправы с Абеяром. Эта ассоциация не обозначена, но возникает в памяти обычно образованного европейского читателя, пробуждая опять и опять мотив злобного вар-

варства, сопутствующего в истории Европы рафинированной культуре, которую несут в себе античные реминисценции. Муж женщины, в которую Оливье влюбился (скалькированная с любви Петрарки к Лауре) решил, что имела место измена, и подверг Оливье страшным истязаниям, которые и привели его к смерти. От пожара, предвиденного и, в сущности, им устроенного, погибает Жюльен. Завершается роман рассуждением (с. 449–478), суть которого состоит в том, что описанное в книге различие и противопоставление утонченной европейской цивилизации коренящемуся там же варварству ложно. Эта ложь, так долго таившаяся в истории культуры, раскрылась в середине XX столетия в фашизме. «Мы все потакали фашизму, и он воплотил всеобщий пожар, в котором заслуженно сгорели мы все». Последняя фраза романа относится к 1943 году: «Заложников расстреляли во дворе фермы неподалеку от Вэзона».

На другом материале и на другом художественном языке та же мысль обнаруживается в названном выше телесериале «Рим»¹³⁷. Мысль эта состоит в том, что антично-римское наследие не столько несет в себе истоки классической культуры Европы, сколько раскрывает ее разрушительную и безнравственную варварскую сущность.

Впечатление от просмотра состоит в том, что фильм не имеет самостоятельного сюжета, а просто воспроизводит в хронологическом порядке с некоторыми сюжетными ответвлениями события римской истории эпохи гражданских войн середины I в. до н. э., сопровождая их иллюстрациями и действиями актеров. Фильм должен быть сказочно дорогим (4000 костюмов, популярнейшие актеры, не много, но и не мало массовок, декоративное оформление, в котором соединяются натурные и павильонные съемки). Есть сведения о грандиозном его успехе. «Би-би-си начинает показ самого сенсационного телесериала в истории британского телевидения, – писала русская служба Би-би-си в своем «Обзоре» от 12 ноября 2007 года. – Речь идет о многосерийном фильме “Рим”, совместном проекте Британской вещательной корпорации и американской компании Эй-би-оу. <...>. Американские телезрители смотрят “Рим” уже несколько месяцев, и он пользуется большой популярностью у публики». Два последних обстоятельства – сказочная дороговизна и шумный успех – говорят о том, что он не

¹³⁷ Демонстрировался по московскому телевидению осенью 2007 года.

мог быть задуман, осуществлен и воспринят только как научно-популярная иллюстрация к школьному или даже университетскому курсу древней истории. Общая реакция прессы состоит в том, что «в новом сериале избыточны батальные сцены и секс» и что он отличается «пристрастием к жестокости», а его создание и его восприятие должны были вырасти из проблем, особенно остро переживаемых сегодня обществом, его культурой и искусством. За проверкой последнего утверждения редакция «Обзора» обратилась к основателю английского общества «Друзья античности» и университетскому преподавателю древней истории Питеру Джоунзу. Его слова очень точно соотносятся с теми ассоциациями, которые все чаще встают из современных реминисценций, из современных упоминаний о Древнем Риме, из самого его образа, живущего в общественном сознании современной Европы и современной Америки.

«По мнению историка, изображать римлян сексуальными маньяками и жестокими убийцами неправильно, а именно такое представление о римской истории характерно для многих зрителей». «Они знают о ней совсем мало – в основном о Нероне и его оргиях, а также о том, что Рим подчинил себе весь мир. Со времени выхода фильма на экраны не утихают споры о том, является ли сериал “Рим” политической сатирой на бушевскую Америку, которую многие либералы считают новой империей, наподобие Римской. Между тем в рекламе сериала говорится, что он посвящен упадку Древнего Рима, распаду его социальных и политических институтов. Именно этому историческому периоду посвящен фильм. И здесь есть сильный соблазн воспринимать Рим как урок и предупреждение для современной истории начала XXI века». Угол зрения, под которым воспринят и рекламируется этот фильм, очень характерен. Не нужно быть специалистом-историком, чтобы видеть, как совмещаются в реальности раннеимператорского Рима черты кризиса республики и становление империи с ее правовым укладом, стабильностью гражданства и, главное, с ее способностью решить проблемы идентификации многоплеменного населения и его слияния в противоречивое единство, которое он передал Европе и которое, как утверждает фильм, она утрачивает.

Такое восприятие независимо от намерений авторов (хотя, может быть, и ими предполагавшееся) задано априори, до анализа материала, как это ни странно звучит, самой фигуративностью кино- и

телеискусства. Образы античного Рима, составляющие европейскую культурную традицию от Кассиодора до Пушкина и далее вплоть до изобретения кино, никогда и ни для кого не были предметом непосредственно реального, физического зрения. Они поэтому, как и сама классическая традиция, всегда жили в духовной субстанции культуры и в опыте культуры, сосредоточенном в воспринимающем сознании, как художественные или философски-политические *образы*. Другое дело, что имманентные искусству образы как новые, принципиально пост-античные, могли возникать в системе данного произведения как продиктованного своим временем, но вне материально-физических антично-римских ассоциаций, вне реально-жизненного или повседневно-бытового осовременивания и заземления. Между тем тогда, когда она происходит, такая физическая материализация разрушает образы, живущие для нас в недрах европейской культуры, и порождает сама по себе неожиданный познавательный эффект отталкивания. Фильм создан ради утверждения рубежа, отделяющего мир окружающий, как бы он ни был далек от желаемого, от мира Рима и вышедшей из него и его продолжающей Европы. Смотрите «Европу» Ларса фон Триера, финал фильма Гринуэя «Повар, вор, его жена, ее любовник» и рецензии на кинопродукцию, собранные в научном сборнике *Classical Myth and Culture in the Cinema* (Ed. M. Martin. Oxford Univ. Press, 2001).

Рубеж есть. Хотим мы того или не хотим. Чтобы понять его культурно-исторический и общественно-философский смысл, надо, как всегда, выйти за пределы материала и сформулировать общие выводы – теоретические, с одной стороны, и непосредственно представленные в повседневной жизни, с другой, – своего рода эпилог. В сущности, как сказано, не один эпилог, а два. Гёте, говоря опрологах к «Фаусту», нашел для них идеально точные слова. Воспользуемся его находками: «Prolog im Himmel и Prolog auf Erden» и переиначим их к завершению нашей работы: эпилог на небесах философии и духа и эпилог в непосредственной реальности практической жизни.

Исторические выводы и жизненная реальность

Внутренние макроформы культурного развития

Давайте еще раз отдадим себе отчет в сегодняшней ситуации культурно-исторического познания, связанной с понятиями знака и образа. Напомним, как это было сказано выше. – «Образ выходит за пределы знака за счет крайней широты означаемых. Он выходит за эти пределы, в первую очередь, за счет сохранения в них пережитого содержания, эмоционального и психологического, потому расплывчатого, хотя и человечески достоверного. Образ выходит за указанные пределы также по своему intersубъективному характеру, ибо охватывает отраженную реальность в ее эпохально широких масштабах и во всем бесконечном человеческом многообразии воспринимающего сознания».

Теперь нам необходимо сделать следующий шаг в том же направлении и добавить к «знаку» и «образу» понятие *внутренних форм культуры*. Оно было выдвинуто в 1923 году Эрнстом Кассирером в его «Философии символических форм». Приведем ключевой пассаж. – «Подобно тому как современная философия языка в поисках точки опоры в исследовании языка выдвинула понятие “внутренней языковой формы”, на наш взгляд, вполне допустимо предположение о существовании аналогичной “внутренней формы” в религии, мифе, искусстве, научном познании, как и стремление ее выявить. Эта форма представляет собой не просто сумму или экстракт из отдельных феноменов этих областей, а закон, обуславливающий их строение. Правда, чтобы удостовериться в этом законе, в конце концов, нет иного пути, кроме как открыть его в самих феноменах, “абстрагировать” его от них; но именно эта абстракция оказывается необходимым и конститутивным моментом в содержании частного как непосредст-

венно данного»¹³⁸. В связи с проблематикой, обсуждаемой в данном исследовании, понятие внутренней формы культуры получило развитие, в частности, в работах автора¹³⁹. Объясним более подробно, о чем идет речь, – о внутренней форме культуры, в дальнейшем изложении – в.ф.к.

Понятие «внутренней формы» заимствовано из языкознания, где оно употребляется в составе формулы «внутренняя форма слова». Само понятие (и соответствующий ему термин) предложено в тридцатые годы XIX века В. фон Гумбольдтом, развито на российской почве в 1860-е – 1890-е годы А.А. Потебней и популяризовано в 40-е годы XX столетия академиком В.В. Виноградовым. Под внутренней формой слова понимается образ, выявляющий единый исходный смысл однокоренных слов, которые в речевой практике свою смысловую связь утратили или существенно ослабили. Такой образ может быть более или менее четким и легко формулируемым и может быть расплывчатым, лишь с трудом поддающимся словесному определению. Так, в словах «постель», «стланник» (растение, стелющееся по поверхности тундры) и «застилать» (взор) без труда угадывается общий образ зыбкой нетвердой поверхности, прикрывающей некоторую плоскость, горизонтальную или вертикальную. При этом уже связь такого образа со словом «стол», этимологически очевидная, в речевой практике осознается с усилием. Напротив того, внутреннюю форму, объединяющую, например, слова «душный», «духовный» и «духи», можно ощутить, но лишь с большим трудом сформулировать.

Неполная понятийно-логическая проясненность внутренней формы, ее апелляция, скорее, к образной интуиции в сочетании с непреложным ощущением того, что в ней находят себе отражение какие-то существенные объективные связи, реально живущие в глубине данной культурной системы, и послужили основанием для использования понятия внутренней формы при истолковании некоторых мало известных свойств культуры, в частности Кассирером в приведен-

¹³⁸ Кассирер Э. *Философия символических форм*. Язык. Т. I. М.; СПб: Университетская книга, 2002. С. 18.

¹³⁹ Кнабе Г.С. *Внутренние формы культуры // Декоративное искусство СССР*. 1980. № 2. В дополненном и переработанном виде неоднократно публиковалась в дальнейшем.

ном пассаже. Краткая характеристика в.ф.к. некоторых эпох поможет уяснить себе в более развитом виде культурно-историческую суть явления.

В самых разных духовных проявлениях эпохи европейского барокко между, примерно, серединой XVII и серединой XVIII веков отчетливо сквозит один и тот же образ. Едва ли не крупнейший мыслитель этой поры, Вильгельм Лейбниц обозначил его словами «неукротимая корпускула». Универсальный образ действительности как некоего пространства, где живут, сталкиваются и взаимодействуют заряженные энергией дискретные единицы бытия, в конечном счете, имеющие прийти в состояние относительного равновесия-катарсиса, узнается в атомизме Декарта, в монадологии Лейбница, в естественном праве Спинозы, в столь характерных для этого времени трактатах о мире от того же Декарта до Гуго Гроция, в политической и дипломатической практике, которая сводилась к бесконечным перегруппировкам, союзам и войнам между составлявшими западную Европу небольшими, тянущими каждое в свою сторону государствами. Те же «неукротимые корпускулы» узнаются даже в классицистической трагедии, даже в пользовавшемся в эти годы массовым, фантастическим успехом «Робинзоне Крузо» – романе об изолированном человеке – атоме, своей энергией создающем вокруг себя свой мир.

Можно было бы указать на образ вертикали как внутреннюю форму средневековой культуры, или на внутреннюю форму культуры второй половины XIX века, где мир выступает своеобразным полем напряжения, и главное в нем – не событие или предмет, а заполняющая пространство между ними среда, ощущаемая теперь не как пустота, а как энергия, поле, свет, воля настроение; так в драматургии Чехова или Ибсена, в теории энергетического поля Максвелла, в живописи импрессионистов и т. д.

В рамках проблематики, нас интересующей, т. е. прежде всего связанной с древним Римом, познавательные ресурсы, заложенные во внутренней форме культуры, выступают особенно отчетливо¹⁴⁰. Уличное водоснабжение на протяжении истории античного Рима про-

¹⁴⁰ См. раздел «Художественное конструирование и внутренняя форма римской культуры» в книге: *Кнабе Г.С.* Древний Рим. – История и повседневность. М.: Искусство, 1986. С.175–203 – с весьма выразительными иллюстрациями.

делало отчетливую эволюцию: природные источники уступили место деревянным колодцам, деревянные – каменным, колодцы – ороженным уличным водопроводным бассейнам. В результате длительного опыта оказалась отобрана и закреплена некоторая оптимальная конструкция, которая как конструкция в дальнейшем уже не реагировала на изменение окружающих условий. Такое изменение сказало лишь во внешнем добавлении к исконной основе некоторой приставки – аппликации – декоративного рельефа на одной из каменных плит колодца. В пределах данного сооружения именно такие рельефы, многообразно разные и по тематике, и по исполнению, и только они исчерпывающим образом воплощали и изменение технических условий, и рост эстетических потребностей. Тот же принцип формообразования сказался в эволюции римской мебели. – Примитивная и архаичная в своей основе вещь – ложе, шкатулка, дверь – становилась «престижной» и «современной» за счет накладок, инкрустаций, филенок из дорогих и часто неожиданных материалов, конструкция же вещей тяготела к полной стабильности, к закреплению в их неизменности уже с III века до н. э. раз навсегда найденных, веками отработанных схем. Широко известно, насколько универсальным был этот принцип в римской архитектуре. Для римского мышления строение всегда было полуфабрикатом. Домом, соответствовавшим вкусам времени, оно становилось после облицовки, скрывавшей неизменную, часто архаичную, конструкцию. Другое дело, что в определенных условиях такая архаика сама становилась приемом, но это уже не меняло существа дела. Так же за счет накладных эмблем индивидуальными для данного легиона и «адресными» становились как правило мало отличавшиеся друг от друга щиты и шлемы римских воинов. Той же логике подчинялись обувь, орудия труда, в принципе любое изделие. Для римлянина оно, под накладным усовершенствованием, было изъято из пестрой и быстрой смены улучшений и ухудшений, вообще из мелькания жизненных перемен и относилось к иной, глубинной и малоподвижной сфере существования.

Острое ощущение разницы между внешним подвижно-многообразным обликом и внутренне устойчивой основой обнаруживается в Риме также и в других сферах, от дизайна, казалось бы, предельно далеких, – в философии, историографии, в общественном самосозна-

нии. От греков, от философов милетской школы, от Эмпедокла и Платона римляне заимствовали представление о неизменной первооснове мира, противоречиво слитой с его непосредственной данностью, всегда изменчивой, дробной, состоящей из преходящих вещей и явлений, которые представлялись как бы извне наложенными на эту основу. В учении Полибия об охваченном единой закономерностью и в этом смысле всегда равном самому себе «всемирном и всеобщем» историческом процессе, который по-разному отражается в каждый раз различных конкретных обстоятельствах, без труда угадывается та же дихотомия. Текст Полибия не дает оснований видеть здесь прямое заимствование тех или иных философских идей; речь должна идти скорее об общности культурного мироощущения. Перед нами не заимствование идей, а общее для античного мироощущения переживание действительности.

Римляне оказались хорошими учениками. В государственно-политических и риторических сочинениях Цицерона, последнего, итогового периода его творчества («О государстве», «Об ораторе», «О дружбе»), равно как в письмах этих лет, также господствует ощущение двойственности общественного бытия. Рядом с реальной практикой и над ней все яснее вырисовывается и все больше занимает мысль Цицерона представление о норме и идеале – достигших совершенства неизменных эталонах, возвышающихся над текучей, пестро многообразной и индивидуально изменчивой эмпирией римского государства, римского судебного красноречия, человеческих отношений. Сенека был твердо убежден, что «не может быть субстанцией то, что приходит, и живет, дабы погибнуть»¹⁴¹. История, по убеждению римлян, обладала той же двуединой структурой, что и бытие: реальные обстоятельства общественной жизни, изменчивые и во многом случайные, составляли в их глазах внешнюю, часто произвольного рисунка оболочку – «аппликацию», которая скрывала внутреннюю неизменную суть исторического процесса. Полибий, грек по происхождению и языку, но римлянин по предмету своих ученых занятий и подходу к ним, учил, что история осуществляется только в жизни и трудах людей серьезных, мужественных и верных долгу. Тем самым она несет в себе нравственное начало, подчинена разумно устроено-

¹⁴¹ Сенека. О блаженной жизни 7.

му миропорядку и образует всеобщую и единую первооснову бытия людей во времени, скрытую в каждый данный момент за яркой завесой частных и отдельных событий, поступков и страстей. Та же диалектика внешне преходящего и внутренне пребывающего вытекала из самого характера римской жизни. Ограниченность производительных сил антично-средиземноморского человечества делала коренной и неизменной формой общественной организации город-государство, полис. Она не могла вместить сколько-нибудь значительное историческое развитие, периодически ввергала полис в жесточайшие кризисы, требовала перемен. – И потому же тот же полис сквозь эти кризисы погибал, менялся, и вечно возрождался как вечная первооснова жизни. *Roma aeterna*.

Реализовавшаяся здесь внутренняя форма культуры представляет глазам потомства и историка глубинные конститутивные свойства римского культурно-исторического бытия. В первую очередь то его первое и основополагающее свойство, которое мы выше назвали консерватизмом. Но она, внутренняя форма культуры, увы, не дает нам ясного и убедительного решения той задачи, которая с самого начала перед нами возникла: сопоставить в целом, как единую цивилизацию, античный Рим, с одной стороны, и вышедшую из нее цивилизацию Европы, с другой. Так сформулированная задача породила само понятие в.ф.к., но в ходе последнего столетия культурно-философское и культурно-историческое познание расширило и переориентировало и это понятие, и саму эту задачу. С этим расширением и с этой переориентацией нам теперь необходимо познакомиться.

На протяжении веков всеобщим и безусловным было убеждение в разноприродности науки и культуры. Наука характеризуется объективностью, анализом, логикой каузальных связей, верифицируемостью выводов, приматом истины над ценностью. Культура есть сфера субъективно переживаемых ценностей, фиксирует опыт не только в понятиях, но и в образах, несет в себе исторически изменчивые моральные и художественные коррективы истины и ценности. В основе этого различия всегда лежала противоположность структурированного бытия как сферы науки и жизни вместе с отражением ее в культуре, которые имеют дело с реальностью текучей, бесконечно изменчивой и индивидуализованной, т. е. не структурированной. На протяжении XX столетия развитие науки, как и развитие самой

культуры, пошло под знаком сближения их на почве признания неслиянности, но и нераздельности науки и жизни, неслиянности, но и нераздельности структурного и стихийно-жизненного начал действительности¹⁴². Из этого типа действительности, из этого состояния культуры и из порожденной ими проблематики науки и возникла не только сама философская рефлексия, стремящаяся уловить до-рациональные, зыбко текущие глубинные грани культуры и в том числе и такие ее феномены, как знак, образ или в.ф.к., но и потребность в обнаружении-создании совокупного целого, самостоятельного и очерченного, отражающего сущность той или иной культурной эпохи.

До начала XIX века представления о культурно-исторической и жизненно-непосредственной, антропологической, целостности отдельных эпох культуры в европейской мысли, по всему судя, не существовало. Там, где в таком представлении обнаруживалась потребность, она удовлетворялась за счет ссылок на антично-римскую подоснову эпохи, соответствия эпохи этой основе или отклонения от нее. Потребность в указанном взгляде возникает в романтизме – в восприятии истории культуры современности через сопоставление ее с культурой былых эпох. Одним из первых документов такого рода явилось сочинение Новалиса «Христианский мир или Европа»¹⁴³. На взгляд автора, Европа в ее истории дана его времени и поколению через дихотомию более органического состояния, где религиозная духовность абсолютно преобладала над материальной практикой и ее интересами, и состояния современного, где положение является во многом обратным. Здесь, кажется, впервые сделана попытка представить Европу в ее истории как некоторое двойственно-противоречивое, но

¹⁴² Ситуация эта была признана и утверждена в носящей характер манифеста статье лауреата Нобелевской премии бельгийского биохимика русского происхождения Ильи Пригожина «Новый союз науки и культуры». – «Курьер» ЮНЕСКО. 1988. № 6. Развитию мыслей, там высказанных, посвящено введение к книге того же автора (совместно с И. Стенгерс) – Порядок из хаоса. М.: Прогресс, 1986. С. 34–66. Важна аргументация тех же мыслей и комментариев к ним в аппарате книги.

¹⁴³ Christentum oder Europa. 1799. Последний русский перевод с хорошим комментарием см.: Arbor Mundi (Мировое древо). Вып. 3. М., 1994. С. 151–168.

духовное и культурно-антропологическое целое. Независимо от того, знал ли Гоголь сочинение Новалиса, его отрывок «Рим» (1841) отражает то же намерение рассмотреть европейскую культуру как целое через противопоставление Рима и Парижа, за которым угадывается сходная антиномия патриархальной Италии, погруженной в свое блаженно неподвижное прошлое, и остро современного, охваченного конвульсиями финансовой и политической борьбы, Парижа.

Восприятие Европы как единой цивилизации переходит из преимущественно художественной тональности в тональность культурно-философскую у Фридриха Ницше. Характерное для него неприятие устанавливающегося буржуазного миропорядка и науки его времени, оправдывающей современное состояние этой цивилизации ее культурно-историческим прошлым, чем дальше, тем больше распространяется для него на Европу в целом. Завершение этого процесса документируется такими текстами, как «По ту сторону добра и зла» (1885–1887) и «Воля к власти» (как бы ни относиться к сомнениям в авторстве этой последней).

В дальнейшем формирование единого образа Европы как исторического и цивилизационно-антропологического целого становится достоянием профессиональной академической философии культуры. В 1922 году появляется первый том «Заката Европы» Освальда Шпенглера, представляющий собой грандиозную попытку очертить западноевропейскую культуру в ее едином движении. В следующем, 1923, году выходит «Философия символических форм» Эрнста Кассирера, о которой у нас шла речь выше и к которой нам вскоре предстоит вернуться. Монографическое рассмотрение именно европейской культуры как замкнутого феномена, противопоставленного другим культурным системам, по всему судя, не входило в намерения автора. Но такой подход и без всяких специальных разъяснений вполне очевидно следует из самого материала книги. Вырастая из предшествующего духовного развития, «Философия символических форм» вводит в рассмотрение философское наследие во всем его многообразии от Ксенофана до Шеллинга, но никогда, кажется, не выходя за пределы Европы.

Европейский тип развития, европейское человечество, кризис европейских наук, Европа и ее судьбы составляют предмет напряженных поисков Эдмунда Гуссерля в последний, во многом самый

важный, период его творчества. Ключевая роль здесь принадлежит его венской лекции 1935 года – «Кризис европейского человечества и философия». Вот ее центральный пассаж, наиболее прямо связанный с нашим анализом. – «Европейские нации могут быть враждебны друг другу, но они обладают все же своеобразным всепроникающим и преодолевающим национальные различия духовным сродством. <...>. Мне кажется, мы чувствуем (и при всей его неясности это чувство правомерно), что наше европейское человечество обладает врожденной энтелехией, господствующей в изменениях образа Европы и придающей ему смысл развития к идеальному образу жизни и бытия как к вечному полюсу»¹⁴⁴.

Завершающим аккордом в рассмотрении философских взглядов на Европу как на культурно-историческое целое в связи с проблемой римского духовного опыта, наследуемого этим «целым», явилась статья Мартина Хайдеггера 1938 года «Время картины мира»¹⁴⁵. Понятие внутренней формы культуры в ней углублено и развито. Исходя из опыта древнегреческой философии как определяющего задачу европейской теории познания в целом, Хайдеггер исходит из представления о цели познания как усмотрения сущности и о восприятии сущего как обусловленного духовным опытом познающего. Однако «сущее становится сущим не оттого, что человек его наблюдает в смысле представления типа субъективной апперцепции»¹⁴⁶. Нормой познания сущего как сущего автор, напротив того, признает опыт и результаты, достигнутые философией Древней Греции. Именно в ней и только в ней «сущее, скорее, глядит на человека, раскрывая себя и собирая его для пребывания в себе. Быть под взором сущего захваченным и поглощенным его открытостью и тем зависеть от него, вовлечься в его противоречия и носить печать его разлада – вот существо человека в великое греческое время. Чтобы осуществить свою сущность, этот человек должен собрать (*legein*), спасти (*sozein*), принять на себя раскрывшееся ему, сберечь его, каким оно открылось, и

¹⁴⁴ Гуссерль Э. Кризис европейского человечества и философия // Гуссерль Э. Философия как строгая наука. Новочеркасск, 1994. С. 107.

¹⁴⁵ Русский перевод – Новая технократическая волна на Западе / АН СССР. Институт философии. Составление и статья П.С.Гуревича. М.: Прогресс, 1986.

¹⁴⁶ Там же. С. 103.

взглянуть в глаза всему его зияющему хаосу (alethenein). Греческий человек *есть* лишь поскольку он слушает сущее, почему в эллинстве мир и не может стать картиной»¹⁴⁷.

Описанное здесь положение представляется автору нормой потому, что в нем еще не представлено значимое для современной науки понятие – и слово – Welt-anschauung – и русская его калька: мировоззрение, в которых ассоциативно этимологически заложено слово «картина». Это последнее слово столь универсально-характерно для современного познания и для культуры в целом, поскольку несовместимо именно с описанной Хайдеггером способностью «эллинского» человека нести сущность мира в себе, вместо того, чтобы «рассматривать» ее и воспринимать на современный лад, как «картину» – соответствующую – или не соответствующую – нашим вкусам. Благодаря успехам науки и техники, психологии и цивилизации, сегодня «чем шире и радикальнее человек распоряжается покоренным миром, чем объективнее становится объект, тем субъективнее, т. е. выпуклее, выдвигает себя субъект, тем неудержимее наблюдение мира и наука о мире превращаются в науку о человеке, в антропологию. <...>. Слово «картина» означает *теперь* конструктор опредмечивающего представления»¹⁴⁸. Подчеркнем слово «теперь», отражающее главную мысль статьи. – «Время картины мира», т. е. сегодняшнее, нас окружающее время, есть время отчуждения познающего сознания от внутренней структуры познаваемой действительности. «Картина мира» означает иссякание времени слитности того и другого, которая образовывала реальную стихию жизни и мышления «греческого человека» и которая сохраняет значение нормы вплоть до наших дней. В этом смысле мысль Хайдеггера в отрицательном модусе продолжает и сохраняет понимание культуры, характерное для перечисленных мыслителей и для их времени в целом.

Вышедшее из романтизма самосознание и самопознание европейской культуры именно как *европейской* отражено в приведенном кратком обзоре от Новалиса до Хайдеггера. Такой обзор содержит осознанную здесь *внутреннюю форму европейской культуры*. Именно об этой культуре как *целом*, эксплицитно и/или имплицит-

¹⁴⁷ Там же.

¹⁴⁸ Там же. С. 105–106.

но, идет речь во всех только что приведенных текстах и в стоящей за ними духовной реальности. Гуссерль выразил общую для них мысль о «своеобразном всепроникающем и преодолевающем национальные различия духовном сродстве». Весь наш предшествующий материал характеризует отразившуюся здесь в.ф.к. как выражение и принцип этой культуры на всем ее протяжении вплоть до середины XX века, до Второй мировой войны и первых послевоенных десятилетий, до эпохи и цивилизации так называемого постмодерна.

В свете восприятия этого материала как общеевропейского и в свете методологических обобщений в сфере семиотики культуры от знака до образа и в.ф.к. он структурируется во внутренней *макрообраз культуры Европы*. Он говорит, прежде всего, о том, что входящий в него тон знаменует непрерывность культурной традиции и объективное постоянство: идеально неизменного образа бытия, как цели философии, и истины как в конечном смысле подлинного результата знания, о каноне и его онтологическом консерватизме.

Обобщающее суждение, сюда относящееся, было высказано уже в наши дни ушедшими от нас тремя учеными (и тремя друзьями), посвятившими значительную часть жизни исследованию антично-европейской традиции в ее культурно-философских основаниях, – Сергеем Сергеевичем Аверинцевым, Александром Викторовичем Михайловым и Михаилом Леоновичем Гаспаровым. Вот один из их выводов – пространность выписки оправдана ее капитальной важностью для основного хода наших рассуждений. – «Здесь не место для историко-философских экскурсов; важно, однако, что античное мировоззрение в самых разных своих вариантах и в различные периоды, от архаики до порога средневековья, склонно оценивать “тождество” и самоидентичность очень высоко. В плане онтологическом “тождество” имеет преимущества перед “инаковостью”; “тождество” – первично, “инаковость” – вторична. В плане аксиологическом “тождество” представляет собой ценность: оно само по себе как принцип высшей степени абстрактности доброкачественней, благороднее, чем инаковость. <...> Уже за догадками досократиков, искавших какую-нибудь единую стихию в основе всего сущего, угадывается непреклонная познавательная воля к обнаружению за видимостью – сущности, за многим – единого, за пестротой эмпирии – умопостигаемой простоты. Этот прорыв, отделивший греческий рационализм и от обыденно-

го, и от мифологического сознания, определил его основную тенденцию на многие века вперед»¹⁴⁹.

Коренную проблему античной философии, как видим, составляет обнаружение за реальным многообразием мира и вещей их единой первоосновы (вода или огонь у философов милетской школы, шарообразное Единое у элеатов, эйдосы Платона и т. д.). Это представление сохраняется и в Риме как некоторая исходно культурная стихия античного мировосприятия и мироосмысления, но здесь оно всецело основано на впечатлениях от *римской* общественно-политической жизни, от традиционных *римских* норм межличностных отношений. Оно находит себе отражение в римском восприятии реальности вплоть до деталей жизни, до организации материально-пространственной среды и ремесленного производства. Римский жилой дом, римский колодец, римская мебель веками строились по некоторому эталонному, закреплённому практикой образцу. Эта постоянная, практически неподверженная времени первооснова становилась реальной вещью, лишь приняв на себя некоторую «аппликацию» – облицовку в доме, накладной рельеф на ограде колодца, декоративные пластины, которыми обивалась мебель. Такая «аппликация» целиком определялась вкусом заказчика и колебаниями моды, воплощала индивидуально многообразный и меняющийся во времени элемент производственной практики и производственного мышления, взаимодействовавший с ощущением стабильной неизменности «первообразов».

Сквозящая во всех этих примерах общая черта не является ни произвольной, ни случайной. Она явно изоморфна самой хозяйственно-жизненной структуре античного мира, где вечную основу производства составляла обработка земли, с ее бесконечно повторяющимся природным циклом, с ориентированным на такое производство консерватизмом общественного строя и нравственных норм, и где динамические, стремительно сменяющие друг друга формы жизни воспринимались тоже как своего рода «аппликации» на этой основе. Философию, общественное самосознание, дизайн, традиционную аксиологию в античном мире вообще и в античном Риме в частно-

¹⁴⁹ Аверинцев С.С. Античная риторика и судьбы античного рационализма. // Аверинцев С.С. Риторика и истоки европейской литературной традиции. М.: Языки русской культуры, 1996. С.121, 123.

сти объединяет, таким образом, общее представление об изменчивой поверхности, облекающей неизменную основу – полупонятие-полуобраз, имеющий основания в объективной действительности и сказывающийся в разных ее сторонах. Когда мы перебираем факты антично-римской рецепции в истории и культуре Европы, мы, таким образом, вынуждены еще раз констатировать ее выше отмеченную онтологическую имманентную для Европы константность и нормативность.

Но те же факты той же рецепции говорят и о ее – этой рецепции и этой культуры – столь же постоянном выходе за собственные пределы, столь же имманентной внутренней противоречивости. Общеизвестно и очевидно, что история и культура Европы не исчерпываются своим классицистическим слагаемым, что они живут как двуединство антично-римской подосновы и как ее отрицание, как сосредоточенность на преемственности античного компонента в его нормативности и как открытость обновляющейся жизни. Теперь настало время убедиться в том, что и *во внутренней макроформе европейской культуры имманентно сказывается не только антично-римский «след» преемственного консерватизма как сохранения, но и от Рима унаследованное самоотрицание, как гарант и резерв развития и роста*, что Европа в целом вплоть до означенного выше рубежа Второй мировой войны несет в себе все ту же макроформу во всей ее живой и многообразной диалектике.

Здесь мы должны сделать перерыв и сосредоточиться на последнем, только что сформулированном и нами выделенном выводе. Заложена в нем диалектика преемственности как сохранения и обновления как развития действительно образует внутреннюю макроформу европейской цивилизации и действительно восходит в ней к глубинным чертам цивилизации Древнего Рима. Они различны, и говорить здесь приходится не о совпадении и не о единстве, а об объединяющей то и другое *изоморфности*. Европа и Рим, каждая в своей целостности, не повторяют друг друга на основе *similitudo temporum*, но и не изолированы друг от друга. Намечающаяся между ними ныне и обращенная в будущее принципиальная раздельность означает столь же принципиальное отличие открывающейся Европы не только от своего римского истока, но и от своего известного и нам данного двухтысячелетнего культурно-исторического бытия.

Такой вывод, чтобы стать убедительным, должен, во-первых, вырасти из анализа современной европейской цивилизации *sub specie* ее открытости внешним воздействиям, т. е. ее готовности к культурным заимствованиям. Он должен, во-вторых, учесть условия повседневного существования европейского населения во всей его пестроте и в его сегодняшнем унаследовании. Он должен, наконец, представить европейски-римскую изоморфность как общий итог, как суть, смысл и цель европейской цивилизации в целом.

Культурные заимствования и историческая память

Взаимодействие культур – постоянный исторический процесс вообще, но в первую очередь процесс ключевой для Европы. Историческая практика и культурное самосознание Европы всегда строились на сосуществовании антагонизма культурно-этнических (и/или культурно-государственных) целостностей и их противоречивого единства. Культура Европы – это процесс постоянного двустороннего (или многостороннего) заимствования, а сама Европа – это историческое осуществление такого заимствования. Сохраняет ли – и сохранит ли – она и сегодня эту свою предстающую в заимствованиях культурно-историческую природу и сущность?

Обзор фактов и обстоятельств от Рима до сегодняшнего дня выявляет несколько общественно-исторических форм, обуславливавших такое взаимодействие, – завоевания; схождения разнородных этнических целостностей в рамках единого государства; распространение стадийно обусловленных духовно-идеологических единств. Достаточно напомнить о провинциях Римской империи, где в результате завоевания складывался строй жизни и производства, а принесенные завоевателями-римлянами формы общественно-правовой организации и культурных предпочтений синтезировались с сохранением местных межличностных отношений и укоренившихся обычаев¹⁵⁰. Ярким примером может служить Фишборн на западе Средней Англии – поместье местного магната, деятеля римской администра-

¹⁵⁰ *Тацит*. Жизнеописание Агриколы, гл. 21.

ции¹⁵¹. Стоит отметить бесчисленные исследования, выполненные в XX веке и посвященные анализу на конкретном материале римски-местного взаимодействия или просопографических (в первую очередь, эпиграфических) данных¹⁵². Для позднейшей эпохи о том же говорит относительная замкнутость отдельных земель на территории Франции, Испании, Германии и т. д. – замкнутость диалектально-языковая, этнографическая, специфически-производственная, подчиненная государственному единству в пору образования централизованных государств и тем не менее в чем-то сохранившаяся и ожившая в наши дни в виде так называемого «коммунитаризма». В принципе такова же и христианизация континента, шедшая в едином русле на протяжении более тысячи лет, распавшаяся на ряд реформированных церковных образований, сохранивших и свои особые учения, и свой особый не только догматический, но и эмоционально-психологический облик. Примеры могут быть умножены бесконечно.

За многообразием таких фактов и процессов на протяжении европейской истории вырисовываются по крайней мере три типа культурных заимствований. Тенденции, в каждом из них заложенные, касаются судьбы заимствуемого материала в культуре заимствующего народа; культурного взаимодействия обоих народов, вступающих в отношения заимствования; степени распространения заимствуемого материала и включения его в элитарную культуру. В своей совокупности и в этой специфике каждого типа именно они делают заимствование одной из основ европейской культуры.

Первая такая тенденция состоит в том, что заимствование там, где оно обусловлено относительно кратковременными и социально избирательными обстоятельствами, может оставаться поверхностным, хотя бы и ярким, явлением культуры, и только погрузившись в ее глубинный ход, оно примыкает к ее магистральным процессам и оказывается включенным в их органическое развитие. Эта тенденция впервые была сформулирована столь отчетливо А.Н. Веселовским в виде так называемой теории встречных течений и принята

¹⁵¹ *Cunliffe B. Fishbourne. A Roman Palace and its Garden. London: Thames and Hudson, 1971.*

¹⁵² До сих пор сохраняет все свое значение упоминавшийся выше классический свод Пфлаума: *Pflaum H.-G. Les carrières procuratoriennes équestres sous le Haut-Empire Romain. T. I. Paris, 1960.*

позднейшей наукой. «К какой бы стороне языка и верований, да и вообще народной жизни, ни направилось бы историческое исследование, оно натолкнется на вопрос о степени устойчивости предания, о силе того, что с одной точки представляется инерцией, а с другой – жизненностью, способностью народного или племенного организма уступать внешнему воздействию не иначе, как превращая его и ассимилируя его при помощи прежде познанного»¹⁵³. «Усваивается лишь то, <...> к чему есть предрасположение в содержании народного сознания»¹⁵⁴.

В качестве иллюстрации только что сказанного можно напомнить, с одной стороны, о французском языке как языке дворянско-великошарского общества в России последней четверти XVIII и первой трети XIX столетий, а с другой – о русском исихазме. Связь последнего с византийским исихазмом и с предваряющим неоплатонизмом равно и бесспорна, и документально не очевидна. Не исчерпываясь немногими конкретными документальными свидетельствами, образ Сергия Радонежского и его учение, однако, входят глубоко и, в сущности, навсегда, в русское православие¹⁵⁵.

Вторая тенденция (или, вернее, второе *свойство*) культурного заимствования, осознанное уже в наши дни, связано с тем оплодотворяющим влиянием, которое процесс заимствования оказывает на *обоих* участников процесса. Процесс не исчерпывается *восприятием* заимствуемого материала. Заимствуется он там и тогда, где заимствующая система обнаруживает внутреннюю в нем потребность, а сам «чужой» материал, войдя в систему, его принявшую, способен в ней укорениться, но материал этот присутствует как культуuroобразующее начало и в системе, играющей роль «донора». Этот тип заимствования получил широкое признание в послевоенной гуманитарной науке XX века и тогда вошел в теорию и историю культуры. Особенно от-

¹⁵³ Веселовский А.Н. Объяснения малорусских и сродных народных песен. Т. 1. Варшава, 1983. С. 124. .

¹⁵⁴ Веселовский А.Н. Разыскания в области русского духовного стиха. Вып. 5. СПб, 1889. С. 115–116. Цитаты из сочинений А.Н. Веселовского приводятся по книге: Топорков А.Л. Теория мифа в русской филологической науке XIX века. М.: Индрик, 1997. Гл. 4. С. 315–380.

¹⁵⁵ Флоренский П. Троице-Сергиева Лавра и Россия (ряд изданий); Флоровский Г. Пути русского богословия. Париж, 1937. С. 4–25 (Репринт).

четливую формулировку и особенно доказательное обоснование он получил в капитальном труде немецкого ученого русского происхождения Михаэля фон Альбрехта «Рим – зеркало Европы».

«Речь идет не о передаче содержания ради содержания, а об обнаружении внутренних взаимосвязей между чтением и сочинением, восприимчивостью и духовной продуктивностью. Здесь раскрывается неразрывная связь между “дать” и “взять”, которая таится за словом “традиция”. <...>. Почему: “Рим – зеркало Европы”, а не: “Европа – зеркало Рима”? Потому что Европа понимается здесь не как зеркальное отражение или слабый ответ, а как самостоятельное светило с собственным излучаемым светом. *Римское предание служит Новому времени зеркалом, в котором оно может распознать самого себя*»¹⁵⁶. (Курсив мой. – Г.К.) В качестве иллюстрации можно привести антично-римское обоснование европейского абсолютизма в культуре и общественном сознании XVI–XVIII веков.

Одна оговорка. – В пределах обсуждаемой проблематики культурное наследие должно рассматриваться как разновидность культурного заимствования. Данный материал может быть либо взятым извне, т. е. представлять собой *заимствование*, либо быть взятым из прошлого состояния той же системы, т. е. представлять собой *наследие*. В обоих случаях он обычно возникает в данной системе как изначально постороннее ей включение и ведет себя в ней в соответствии с обозначенными выше тенденциями.

Так, создание в Европе крупных и централизованных национальных государств на протяжении XVI и вплоть до XVIII века, как известно, имело своей культурной формой наследование и воспринималось как воссоздание исторического опыта империи Древнего Рима. Не менее известно, однако, что этого опыта как такового в Риме не было. Заимствование его предполагало такое освоение антично-римского материала, которое не столько воспроизводило бы точно римские формы, сколько требовало впитывания и переработки антично-римского материала и оплодотворения им текущего опыта становящейся государственности. Так было с Яковом I в Англии и с Ришелье во Франции, так Корнель и Расин, художественно и трагически обосновывая этику и эстетику государственной необходимости, рассказыва-

¹⁵⁶ von Albrecht M. Rom – Spiegel Europas. Heidelberg, 1988. P. 650 и 645.

ли о любви римского императора Тита к иудейской царевне Беренике. Ни в одном из этих случаев не было воспроизведения. Было такое прочтение античного материала, которое раскрывало заложенный в нем и из него прочитанный обоюдный отклик.

Наконец, третья особенность заимствования как формы взаимодействия культур состоит в следующем. В субъективном восприятии осваиваемый человеком инокультурный материал становится частью духовного опыта воспринимающего индивида, опосредствуется этим опытом и *таким* путем становится частью национальной культуры. На недавней русско-немецкой конференции по философии персонализма этой разновидности заимствований был посвящен весьма убедительный доклад профессора Лейпцигского университета Пирмина Штекелер-Вайтхофера о Ницше¹⁵⁷. Тот же акцент на переработке заимствованного материала индивидуальным сознанием деятелей национальной культуры с последующим вхождением его в духовную и общественно-идеологическую традицию страны был в особенно отчетливых формулировках поставлен в докторской диссертации Л.В. Селезневой. Диссертация эта была защищена в 1996 году в Москве, в Российском государственном гуманитарном университете. Автор обосновывает понятие *культура заимствования*, которая характеризует степень осознанности в подходе к использованию иностранного опыта, предлагает критерии определения уровня культуры заимствования: выбор предмета заимствования, соотношение негативного и позитивного опыта и т. д. «В либеральной концепции заимствования систематизированы представления ряда ведущих теоретиков либерализма – Чичерина, Милюкова, Ковалевского, Кавелина, и сделан вывод о том, что само наличие органичной и обстоятельной концепции свидетельствует о глубоко осознанном, а не стихийном отношении к использованию инокультурного опыта»¹⁵⁸.

В акте культурного заимствования и/или наследования осуществляется, как видим, взаимодействие культурных систем. Обе они пред-

¹⁵⁷ Штекелер-Вайтхофер П. Философия подлинной личности у Ницше // Персональность. Язык философии в русско-немецком диалоге. М.: Изд-во «Модест Колеров», 2007. С. 97 и 104.

¹⁵⁸ См.: Селезнева Л.В. Российский либерализм на рубеже 19 и 20 веков и европейская политическая традиция. Автореф. дисс. ... д-ра ист. наук. М., 1996. С. 32.

стают как автономные, в их очерченности и системности, и именно в качестве таковых вступают в процесс заимствования. При этом, однако, заимствование приводит к тому, что одна из них отражает и «высвечивает» стороны другой, придавая культурному взаимодействию и истории культуры характер двуединства. Указанное двуединство осуществляется не только в целостной культуре народа, но и в сознании отдельной личности или социокультурной группы.

Положение в Европе сегодня не подтверждает реальность описанной классификации ни с точки зрения состояния материала, ни как теорию, адекватную этому состоянию. Оно требует признания иных реалий, порождающих иные формы осмысления происходящих процессов в сфере заимствования и наследования культуры. Подобные выводы, касающиеся массового состояния и общественно-исторической жизни в целом, основываются на источниках самого разного типа и потому не могут сводиться в единую стройную систему. Картина, из них возникающая, надеемся, убедительна, но доказательной в принципе быть не может.

Так обстоит дело уже *с первой чертой из трех приведенных*: в распространении производственных, демографических, культурных и информационных связей неповторимая априорная автономия каждой национально-государственной культурно-исторической системы и стирается, и одновременно частично как бы и сохраняется, т. е. нейтрализуется, или по сути дела упраздняется. Очевидным фактом, в частности, остается включение большей части европейских государств в Европейский союз с передачей ему значительной части своих национально-государственных полномочий. Сюда относятся валютное обращение, свободное перемещение граждан по всей территории ЕС, фактическая проницаемость границ для лиц, прибывающих извне, регулирование цен, а в ряде случаев и интенсивности производства в государствах-членах, взаимное признание дипломов о высшем образовании и обмен студентами и профессорами¹⁵⁹. Вполне очевидно также, что в условиях неограниченной свободы обмена информацией и, тем самым, воздействия на умонастроение в каждой стране, само это умонастроение перестает быть национально или «национально-

¹⁵⁹ Хорошую популярную сводку данных см.: *Фонтэйн П.* Европа в 12 уроках. Брюссель, 2004.

социально» специфичным и соответственно сокращается почва для национальной культуры.

В то же время оснований для восприятия сложившегося положения как свидетельства культурного единства Европы не видно. Как говорилось выше, 30 апреля 2006 года «Brussels Forum» опубликовал стенограмму «круглого стола», где общее настроение было сформулировано основателем и президентом международного Nexus Institute (приблизительно: «Институт по связям, контактам и взаимодействию») Робертом Риманом. Напомним. – «Европейской культуры больше не существует. Хуже того: нет тех мест, где она может культивироваться» – «университета и церкви», ибо «квинтэссенция Европы – это европейский дух, это – то единственное, с чем можно идентифицироваться»», тогда как сегодня «Европейский союз – это бюрократия, занятая паспортами и юридическими частностями»¹⁶⁰.

Сколь бы ни были резки эти формулировки, они находят себе подтверждение и в сфере политики, и в искусстве, и в общественном мнении. Бюллетень «Ассошиэтед Пресс. Анализ новостей» за июнь 2005 года публикует обзор своего парижского корреспондента. – «На встрече высшего руководства ЕС, проходившей в атмосфере тревоги и неустойчивости, руководители 25 государств-членов не смогли договориться по вопросам финансовых затрат. Не смогли они также выработать эффективный план спасения предложенной единой конституции ЕС, которая была провалена на голосовании во Франции и в Голландии»¹⁶¹. При этом неуловимым становится сам субъект национальной культуры – исторически сложившееся национальное государство, вступавшее ранее, в эпоху «встречных течений», в культурное взаимодействие и культурный обмен. Такой вывод приходится делать при знакомстве, в частности, с резолюцией Парламентской Ассамблеи Объединенных наций по понятию нации от 13 декабря 2005 года. «Ассамблея отмечает необходимость признавать и усиливать переживание каждым гражданином своей идентичности с избранными им культурой, традициями и историей,

¹⁶⁰ Culture, Identity, and Integration: A New Transatlantic Challenge. Transcript // Brussels Forum. April 30, 2006.

¹⁶¹ An AP News Analysis by John Leicester. Associated Press Writer. Transcript by Russian Line – NTV.

его права рассматривать себя как члена “национальной” культуры независимо от страны своего гражданства или от своей государственной принадлежности как гражданина, что должно в конечном счете привести к признанию права каждого принадлежать к той нации, к которой он себя причисляет»¹⁶².

Политические декларации приведенного выше типа опираются на крайне распространенное умонастроение. Одним из источников его уже с середины 1960-х годов стало студенчество, интернационализованное как по составу, так и по идеологии. Среди лозунгов, которыми в майские дни 68 года были испещрены стены Сорбонны, повторялся: «Франция для французов – фашистский лозунг»¹⁶³. Он дожил, значительно повысив свой статус, до 90-х, где был повторен применительно к будущему Европы одним из тогдашних властителей дум – Умберто Эко. «В следующем тысячелетии Европа превратится в многорасовый или, если предпочитаете, в многоцветный континент. Нравится вам это или нет, но так будет.» «Европу ожидает именно такое будущее, и ни один расист, ни один ностальгирующий реакционер ничего тут поделать не сможет»¹⁶⁴. Любое множество, коллектив, общность и целостность воспринимается в этих условиях как сила, подавляющая личность. Особенно наглядно это предстает, например, в фильмах такого популярнейшего режиссера 1980-х – 1990-х, как Ларс фон Триер. В фильме «Рассекая волны» в этой роли выступает местная община, из которой происходит героиня, в «Догвилле» на этом построен весь рассказ о деревне, которая душит и губит любого свежего, «нездешнего», попавшего в нее человека.

Компактные группы, в которые сбиваются натурализовавшиеся в той или иной европейской стране иммигранты из Третьего мира, сплошь да рядом выступают с резкими протестами против проводимых здешними жителями традиционных национальных празднеств. Ситуация эта очень показательна. Несколько лет тому назад, по сообщению корреспондента московского НТВ Дмитрия Хавина (к сожалению, сообщение не было датировано), в Амстердаме местные

¹⁶² Parliamentary Assembly. Council of Europe. Doc. 10762 13 December 2005. P. 3.

¹⁶³ Les murs ont la parole. Journal mural mai 68. Sorbonne. Odéon. Nanterre etc. Citations recueillies par Julien Bésançon. Paris, 1968. P. 21.

¹⁶⁴ Эко У. Пять эссе на темы этики. СПб., 1998. С. 77.

общественные организации решили пригласить всех жителей округа на рождественский обед и посоветовали им принести к столу приготовленное ими дома заранее типично мусульманское блюдо, чтобы тем подкрепить согласие между иммигрантской и местной общинами. Немедленно последовали протесты в газетах со стороны местных жителей (особенно пожилых), которые сочли оскорбительным появление на христианском празднике демонстративно иноверческих кушаний. Немногом позже в близлежащей общине Heerenveen столь же темпераментные протесты последовали со стороны местной организации «левозеленых». В праздновании местными сыроvarами их традиционного, со средних веков ведущегося, праздника сыроварения они усмотрели «активный национализм», оскорбительный для местных иммигрантов. Такого рода сообщения поступают с самых разных точек западноевропейского культурного пространства. Достаточно вспомнить недавние сообщения о предложении архиепископа Кентерберийского дополнить свод английских законов статьями шариатского права.

В заключение приведем материал, свидетельствующий о распространении подобных тенденций в международной системе художественных коммуникаций. Летом 1999 года в Москве в рамках XXXI Международного кинофестиваля состоялся «круглый стол» кино-критиков по теме «Национальное: достояние или обуза»¹⁶⁵. В центре обсуждения естественно оказался вопрос о национально-культурной идентификации. Общее мнение (за двумя только исключениями – немец и азербайджанец) было единым: в современном мире культурно-национальная идентификация как предпосылка, как потребность и реальность киноискусства находится в стадии исчезновения.

Все сказанное составляет одну – доминирующую – тенденцию современной ситуации в Западной Европе. Она сосуществует с противоположной тенденцией. Таков коммунитаризм, направленный на сплочение на территории современных государств узких диалектальных и культурно-этнографических единств, восходящих к средневековым делениям, – Валлония и Фландрия в Бельгии, Уэллс и Шотландия в Великобритании, Ломбардия в Италии, Бавария и Саксония в Германии и пр. Ареалы такого рода могут порождать

¹⁶⁵ Материалы опубликованы в журнале «Искусство кино» (почему-то без номера; дата подписи в печать – 7 апреля 2000 г.).

сентиментальную солидарность их жителей, но примеров превращения такой солидарности в источник культурных заимствований не видно. Таковы же периодические успехи на выборах правонационалистических сил, чаще всего никак не закрепляемые, не могущие и не ставящие своей задачей возвращение к ситуации и практике «встречных течений».

Вторая черта культурных заимствований в свете всего описанного утрачивает свой основополагающий смысл, бывший ей свойственным ранее: в процессе заимствования и наследования вступающие в этот процесс культурно-исторические целостности взаимодействовали именно как культурные целостности – очерченные (хотя и с размытыми краями), они отражали устойчивые черты друг друга, придавая культурному взаимодействию характер содержательного обмена и двуединства. В условиях «аномии» и глобализации не только нечему взаимодействовать, но и нет смысла обмениваться. У всех есть все, кроме материально-технических и комфортных ценностей, которые не имеют лица и не укоренены ни в какой именно этнокультурной системе, в отличие от других. Швейцарцы ездят во Францию за компьютерами, бытовой техникой, за одеждой и едой, поскольку все это там дешевле, чем в Швейцарии, ничем не уступая по привлекательности и «национальному качеству», а итальянцы, убедившись в том, что опять-таки все те же вещи, продаваемые в Италии, несравненно дороже и хуже, едут за ними, если не во Францию, то в Германию. Ситуация не предполагает реальных «встречных течений» и потребности в них, и ценности, могущие обмениваться, абсолютно подвижны. Там, где такой обмен происходит в сфере фактов и продуктов культуры, он может осуществляться за счет проката, репродуцирования и, в первую очередь, телевидения и интернета. В таком обмене утрачивается уникальность и корневой характер того, что встречается, заимствуется и к чему «есть предрасположение в содержании народного сознания», как говаривал Веселовский, и что исчезает «в век технического репродуцирования», как говаривал Вальтер Беньямин¹⁶⁶.

Третья черта культурных заимствований, по крайней мере в Европе, состоит в обобщенном, слитом воедино переживании заимствованных и наследованных ценностей *как личного мировоззрения*

¹⁶⁶ Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. М., 1996.

ния. Как и две предыдущих черты, она утрачивает сегодня опору в европейском сознании.

В основе европейской культуры лежит принцип индивидуализма, и именно им европейский тип культуры отличается от других культур земного шара. Исторический материал подтверждает этот взгляд. От десятков тысяч надгробных надписей римлян эпохи Империи до Декларации прав человека и гражданина, до принципа свободы личности в рамках закона и международных актов о правах человека европейская традиция всегда была ориентирована на индивида как на самостоятельный исходный атом истории и культуры¹⁶⁷. В цитате, приведенной в сноске, наше внимание должны привлечь в качестве ключевых слова «социальная группа» и «интересы». Со времен Дюркгейма и после всех успехов социальной психологии как науки, на основе опыта старших поколений, вплоть до ныне действующих, вряд ли может вызвать сомнение, что до середины XX века культурный горизонт личности во многом определялся представлениями той социальной целостности, к которой он принадлежал, включая унаследованные и заимствованные элементы этих представлений. Тем менее может вызывать сомнение, что такое положение не сохраняется в рамках цивилизации рубежа XX и XXI веков, когда освоение культуры не предполагает – или: не обязательно предполагает – самостоятельное освоение и личную переработку материала культуры, которое вполне заменяется извлечением в каждом случае необходимой информации из безграничных резервов Сети. Теоретический анализ этой культурно-исторической ситуации и его выводы настолько широко представлены, начиная с 1980-х годов, в научной литературе и публицистике, а в разговорной форме и в общественном мнении, что аргументировать их, по-видимому, нет надобности. Может быть, лучше обратиться к подтверждающим примерам из жизненной практики.

¹⁶⁷ Недавно принцип этот еще раз стал предметом рефлексии и анализа в книге: *Mendras Henri. L'Europe des européens*. Paris, 1997. Из многих черт, определяющих, на взгляд автора, сущность Европы как культурного и исторического феномена, он называет в качестве главной «индивидуализм, римский и евангелический, ставящий на первое место личность, на второе – социальную группу и стремящийся за счет их сочетания обеспечить удовлетворение потребностей и интересов индивида».

По выборочным данным, от 80 до 90% выпускников московских вузов работают после выпуска не по специальности, т. е. не знают непосредственного и повседневно-личного переживания исторических ценностей культуры, усвоенных (или, во всяком случае, преподанных им) во время обучения.

подавляющее большинство вузовских преподавателей принимают и положительно оценивают интернетовские материалы, предъявляемые студентами в качестве своих зачетных и исследовательских работ, независимо от того, в какой мере отразилось в них личное освоение анализируемого материала.

Международно-распространенный художественный стиль в городской архитектуре, в театральных постановках, в беллетристике основывается в большинстве случаев не на демонстративной полемике с традиционными культурно-историческими моделями восприятия (как было в 1960-е – 1980-е годы), а на полном и не обсуждаемом отвлечении от них. Так проектируется и застраивается, например, огромный район, отведенный под «Москва-Сити».

В ходе стремительно распространяющихся туристических маршрутов знакомство с некогда заимствованными и/или унаследованными ценностями планируется и осуществляется организаторами туров в ускоренном, т. е. «скользящем», другими словами – поверхностном, темпе, что не мешает, а скорее предполагает их популярность.

Исчезновение в России интеллигенции как части социальной и духовной структуры общества означает исчезновение того пласта культуры и социальной психологии, в котором и осуществлялось освоение заимствованного и/или наследованного опыта и превращение его в личный опыт и в стимул общественного поведения¹⁶⁸.

Во всех трех рассмотренных гранях культурного заимствования (или наследования) исчезновение ранее им свойственного духовного содержания осложнено в какой-то мере сохраняющимся их былым смыслом. Мы упоминали об этом в связи с современным коммунистическим, с гипертрофией чувства национально-государственного фундаментализма в политическом экстремизме разных оттенков, с как-то все-таки растущим, несмотря на все противостоящие тенденции, процессом, если не осознания, то привычки, к единству ЕС.

¹⁶⁸ См.: *Кнабе Г.С.* Перевернутая страница. М.: РГГУ, 2002.

Нам не приходилось упоминать выше о таком показательном явлении, как *invented communities* (= «придуманные» или «воображаемые» сообщества).

Понятие и термин этот широко распространился в 1980-е – 1990-е годы после работ английского историка Эрика Хобсбаума для обозначения материальных и духовных форм культуры, призванных искусственно восстановить распавшуюся связь с прошлым ради придания весомости и престижа традициям, *уже* утраченным и *еще* востребованным¹⁶⁹. Наконец, превращение в общественном обиходе исходных понятий культуры и человеческого общежития, в том числе образы истории, в так называемые симулякры¹⁷⁰.

Позволим себе некоторые выводы общего характера.

– Очерченная выше ситуация свидетельствует о состоянии межкультурных отношений – заимствований и наследования. За ними вырисовывается более общая характеристика современной цивилизации. В ней обнаруживаются преимущественно две тенденции – тенденция к *дисперсии*, господствующая и, по-видимому, открытая в будущее, и тенденция к *коэзии*, сохраняющая значение ценности, окрашивающая существование, но находящаяся в растущем противоречии с тенденцией господствующей.

– В заимствовании и наследовании в растущей мере осуществляется замена вступающих во взаимодействие очерченных национально-исторических величин их растворением в процессах континуальных, текучих и дробных. Заимствование и наследование тем самым как бы постоянно осуществляются и постоянно ускользают от четко обозначенных форм взаимодействия четко обозначенных величин.

¹⁶⁹ Примерами могут служить стиль «ретро» в оформлении вещной и материально-пространственной среды в 1970-е годы, массовое возвращение в России старых наименований городам и улицам после переименования их в советские годы, столь же массовое официальное признание «историческими» и взятие под государственную охрану любых сооружений старше 30 лет в Англии. Наиболее известные исследования по теме: *The Invention of Traditions* / Ed. E. Hobsbawm, T. Ranger. Cambridge, 1984; *Anderson B. Imagined Communities*, 1991, русский перевод: *Андерсон Б. Воображаемые сообщества*. М.: Канон-пресс-Ц, Кучково поле, 2001.

¹⁷⁰ Философский и на редкость глубокий анализ явления см. в статье: *Делез Ж. Платон и симулякр* // *Новое литературное обозрение*. 1993. № 5.

– В этих условиях приобретает актуальность – научную, публицистическую и общественную – культурно-исторический опыт Римской империи. На протяжении минувших полутора тысяч лет он воспринимался как постоянно ощущаемый источник Европы и ее цивилизации не в последнюю очередь потому, что в нем находило себе разрешение означенное выше противоречие между коэзией и дисперсией. Сегодня это свойство империи Рима выступает, с одной стороны, как актуальный образец если не для подражания, то для повышенного внимания, а с другой – в силу именно этого его смысла, как раздражающее препятствие нарастанию дисперсии – главной и все более универсальной тенденции времени. Своеобразным манифестом последней являются упомянутые выше книги сорбоннского профессора Реми Брага «Европа, римский путь»¹⁷¹, Бориса Джонсона¹⁷².

Из письма приятельницы,
жительствующей в Мюнхене

Привожу в выдержках подлинное письмо, полученное мной в апреле 2009 года от моей приятельницы, в прошлом москвички, долгие годы живущей в Мюнхене. Делаю это, дабы дать читателю возможность проверить, насколько культурно-исторические, и в этом смысле описанные и проанализированные выше, обобщенные, теоретические процессы и явления находят себе отражение в обычной жизни обычных людей, т. е. обладают непосредственной реальностью и потому обосновывают или подтверждают предлагаемые выводы.

¹⁷¹ *Brague Rémi. Europe, la voie romaine. Paris. Critérion, 1992, русский перевод: Браг Реми. Европа, римский путь. Долгопрудный: Аллегро-Пресс, 1995. Издатели немецкого перевода (Frankfurt: Campus Verlag, 1993) в самом названии, присвоенном ими книге, обозначили свое к ней отношение: Brague Rémi. Europa Eine exzentrische Identität. Прилагательное exzentrische означает здесь и «смещенный по отношению к центру», но и «эксцентричный, странноватый».*

¹⁷² *Johnson Boris. The Dream of Rome. London: Harpers Collins Publ., 2006, и своеобразный комментарий к ней: Pears Iain. The Dream of Scipio. s.l.n.d. Русский перевод: Пирс Йен. Сон Сципиона.*

Наиболее обобщающая фраза письма звучит так. – «Я имею возможность наблюдать лично только Германию, а редкие посещения других стран не дают возможности что-либо увидеть глубже поверхности и позволяют лишь лицезреть общность европейской культуры общения, необычайно симпатичную коммуникативность, любезность, дружелюбие и пр.». Такая «симпатичная коммуникативность» должна быть признана распространенной чертой «европейской культуры общения», не исчерпывающейся его поверхностью. В ней, в этой «учтливости», видел своеобразную норму еще Гарсия Лорка, меньше всего склонный преувеличивать положительные черты ненавистного ему буржуазного общества. Улыбка, просьба извинить, взаимная готовность мирно все уладить при случайном столкновении, привычка придержать автоматическую дверь, чтобы она вас не ударила, деловитая любезность, а нередко и добродушие продавца, обслуживающего вас в магазине, готовность незнакомого человека, если вы обратились к нему с вопросом, понять и дать исчерпывающий ответ, ощутима и на повседневно бытовом уровне как укорененная и распространенная черта европейского общества.

Неисчерпанность поверхностью явствует из прямой связи такой учтливости с толерантностью как нормой, лежащей глубже в общественном сознании, утверждаемой и пропагандируемой в средствах массовой информации и в официальных документах. Примеры приводились нами выше, о том же пишет мой мюнхенский корреспондент. – «Культурные немцы и, в частности, те, которых я знаю лично, гордятся своими именно *европейскими* ценностями; к ним они относят толерантность, к другим – открытость». Последнее слово обнаруживает прямую связь толерантности как формы бытового поведения с открытостью как принципиальной и конститутивной чертой, утверждаемой европейским обществом.

Феномен открытости предстает в комментируемом письме и на повседневно бытовом уровне, хотя и в своеобразном, весьма существенном преломлении. «Мюнхен, – пишет корреспондент, – состоит из *Innenraum*, внутренний город или центральная часть, и *Aussenraum*, что-то типа пригородов. Из 1,5 миллионов населения, думаю, одна треть приходится на центральную часть. В пригороде живут многие приезжие, работающие на крупных предприятиях, и те, кто имеет собственные дома. И хотя у всех есть машины и навык много

путешествовать, живут они преимущественно достаточно замкнуто. А в маленьких городках вокруг Мюнхена живут вообще с почти консервативным сельским укладом, хотя обустроены они все в смысле комфорта именно как города, а деревни в нашем понимании здесь вообще нет. Есть фермеры, которые занимаются производством какого-то одного продукта, специализированно чем дальше от города, тем менее “европейского” и более “немецкого”, и, в частности, здесь локально “баварского”. А поскольку крупных городов Германии немного, то в целом этого локального намного больше».

В этом противоречивом сплетении «внутреннего» и «внешнего города» отражаются процессы и тенденции для всей обсуждаемой ситуации центральные. Есть учтивость, как манера личного поведения. Продолжением ее является коммуникативность – понятие более широкое. Учтивость как манера и коммуникативность как привычка в общем сознании вписаны в толерантность не просто как более общий принцип, а и как в некоторую ценность и требование, формулируемые на общественном уровне. Все это – ступени, на которых реализуется культурно-историческое наиболее общее понятие открытости. Дальнейшее движение к открытости и сама открытость получают воплощение в *Innenraum*, т. е. в большом городе как таковом. Общение здесь охватывает разнородные социально и разнородные национально, или даже этнически, слои населения, раздвигая открытость до общеевропейской, а в ряде отношений до общемировой. При этом осознание такой открытости, если не всегда как ценности, то, во всяком случае, как распространенной нормы, делает ее для очень и очень многих естественным содержанием требований к избирательным программам политических партий и к деятельности партий, победивших на выборах. Следующим шагом к воплощению открытости остается поддержка Европейского Союза, если не как политического организма, то, во всяком случае, его принципов.

И здесь вырисовывается коренная и глубинная характеристика социально-психологической и морально-политической структуры европейского общества, отнюдь не только германского. *Aussenraum* сосредотачивает в себе не только в Мюнхене, но и в Германии в целом, господствующее большинство населения. Напомним приведенные в предыдущих разделах цифры: в западной Германии не более трех

процентов населения проживает в больших городах, в восточной – не многим более двадцати¹⁷³. Но тогда открытость и вся цепочка понятий, с ней связанных, перестает быть господствующей и во всяком случае единственной матрицей общественного сознания. Рядом с личным переживанием открытых горизонтов как актуальной современной ценности и с основанной на открытости самооценкой национального государства как культурно-исторического организма возникает и просвечивает другой ряд. В нем актуализованы консерватизм – традиция, в том числе либеральная, в частности для Германии, и традиция либерального бюргерства – возрождение архаических и почвенных обычаев как образа местной истории – коммунитаризм. Это – тоже «европейскость», но отличная от «европейскости» как открытости. В письме подробно описывается, как в городке Ландсхуте, в часе езды от Мюнхена, ежегодно торжественно и костюмированно празднуется такая важнейшая веха в истории городка, как свадьба местного принцесса Георгия Виттельсбахского на польской королевно Ядвиге. Здесь повторяются и узнаются те же по смыслу, а во многом и по форме обычаи, о которых мы уже рассказывали в связи с празднествами в Голландии, Бельгии, Дании и в связи с рождающимся отсюда общеевропейским феноменом коммунитаризма. Рядом с Европой открытости, движущейся – или стремящейся двигаться – к континенту без внутренних границ и по сути дела без своей, местной, пережитой истории, живет и настойчиво самоутверждается совокупность земель. Они – тоже Европа, но Европа, угадывающаяся в схожести исторических судеб и глубоко укорененных ценностей, та же Европа, но не укладывающаяся в параграфы устава ЕС. Эта ситуация двух Европ представлена в концентрированном виде в стенограмме «Брюссельского форума»¹⁷⁴. В ней главный итог всего нашего материала, всего анализа и объединяющей их проблемы, в ней ответ на столь часто возникающий вопрос: почему то единство разнородного, которое смогли создать римляне в своей империи, неосуществимо в наши дни, хотя и разнородность, и единство реально представлены в сегодняшней Европе, реально живут в устремлениях, вкусах

¹⁷³ Anzahl der Wohnungen in Großsiedlungen in Deutschland // Berliner Morgenpost. November 19.1994.

¹⁷⁴ Brussels Forum. Sunday. April 30. 2006.

и предпочтениях миллионов европейцев? Или оно существует, но представлено не в материальной реальности и не в исторической памяти, на нее опирающейся, а во внутренней макроформе культуры и истории Европы?

Единство как изоморфность

В настоящем заключительном параграфе нам необходимо остановиться в качестве основного на том обстоятельстве, о котором нам уже приходилось многократно упоминать при характеристике основных черт как антично-римской, так и европейской культуры. Речь идет о способности обеих систем сохранять верность своим постоянным началам при столь же постоянном выходе за их пределы, о способности, другими словами, оставаться самой собой в процессе изменения, сохранять свою сущность, меняя ее явление и образ.

В Риме это двуединство сохранения консервативного канона в ходе его обновления может быть проиллюстрировано на трех примерах. Такова для начала консервативная юридическая фикция и ее роль в динамическом преобразовании общественно-административной и государственно-политической структуры. Таково, далее, сочетание романизации и обратного влияния покоренных провинций на центр империи и ее бытие. Такова, наконец, групповая множественная структура общественной жизни – для Рима исконная и в то же время развивающаяся с опорой на общеимперские нравы. Все эти три линии римского общественного и культурного развития были достаточно полно обрисованы в предшествующем изложении и достаточно внятно объясняются в учебных курсах гуманитарных вузов и даже средней школы. Нам остается только напомнить об их основных формах.

Лежавшее в исходной основе Рима сочетание патрицианской и плебейской общин содержало их явное и коренное противоречие – политически-правовое, историческое, вплоть до этнического. Оно *никуда не исчезало на протяжении веков*, но и никогда не приводило к подавлению одной общины другой, *к замене их двойственности альтернативным и единственным выбором*. Преемственность исходного и вечного принципа сосуществовала с видоизменением его под

воздействием развивающейся жизни, жила в нем, с ним взаимодействовала и, сохраняясь, его перерастала. В V веке по закону народного трибуна Канулея были разрешены и введены браки между патрициями и плебеями. Разделение обеих общин сохранялось, но в определенных случаях и условиях становилось как бы «снятым». На рубеже IV и III веков по закону народных трибунов братьев Огульниев лица плебейского происхождения получили право занимать положение жрецов и отправлять сакральные ритуалы – но не всех жрецов и не все ритуалы. Определенная их часть сохранялась как извечная привилегия патрициев, но отныне становилась частью более широкой патрицианско-плебейской системы. Взаимопроникновение патрициата и плебейства привело к тому, что – в основном в ходе II века до н. э. – римское правящее сословие оформилось как *нобилитет*, т. е. как часть все той же двуединой системы.

Тот же принцип единства консервативной нормы и обновляющейся жизни воплотился в Римской империи. Исходную хартию императорской власти составило так называемое политическое завещание Августа – *Res Gestae Divi Augusti* (Деяния Божественного Августа). Основной смысл этого документа состоял в предельно консервативном средоточии исконных римских республиканских магистратур и в утверждении их санкцией сената – но средоточии в небывалом отнесении их в целом к одному лицу. То была, как часто говорят современные историки, «республиканская монархия». Помимо такой правовой гарантии, власть императора опиралась и на вооруженную силу – на расквартированный в Риме привилегированный воинский контингент. Он назывался преторианским корпусом, т. е. стражей, призванной охранять *преторий* – шатер командующего в центре боевого лагеря и примыкающие к нему штабные помещения. Поскольку, начиная с Августа, принцепс сената был в силу этого своего положения не только реальным, но и юридическим полноправным правителем государства, то в его обязанности входило и командование вооруженными силами, следовательно, и титул, равно как положение, командующего, т. е. императора, поэтому ему вполне консервативно, с незапамятных времен, полагалась преторианская охрана. Смысл ее стал ныне ничего общего не имеющим с исконным. Численность ее стала несопоставимой с прежней – 9, а затем и 16 тысяч воинов, чего никогда ранее не бывало. Расквартирована она была не в поход-

ном лагере, а в абсолютно благополучном Риме. Объектом противостояния ей, теоретически и политически, были не враждебные Риму племена и народы, а исконно римская сенатская знать, потенциально враждебная императору. В итоге она была «консервативной», но, как консервативная, – «фикцией», при этом фикцией «консервативно-юридически» безупречной.

По той же модели строились все основы политического строя Рима не только с началом империи, но и испокон века. *Консервативная норма составляла психологическую и культурную основу жизни государства именно потому и в той мере, в какой была открыта поступательному развитию жизни общества и его потребностей.* Материал, приведенный в разделе об экспансии, говорил о том же смысле, заложенном в Цицероновском учении о двух родинах и в его непреложных основах в общественной реальности. И о том же смысле говорил весь обозначенный просопографический материал, касающийся местной, иноплеменной, знати, рано или поздно становившейся знатью римской¹⁷⁵. Точно так же органическая потребность в групповой и местной солидарности как основе социального самочувствия и комфорта удовлетворялась за счет изначального кланово-родового, фамилиального и местного происхождения римской общественной организации. Она отмечалась еще в конце II века до н. э.¹⁷⁶ и в конце I века н. э.¹⁷⁷ Но на ее фоне и в связи с ней росла так же, начиная еще с царской эпохи, групповая солидарность по независимому от нее производственному признаку – признаку жизненной целесообразности, а не архаической нормативности, хотя и открытому последней¹⁷⁸.

Тот же тип общественно-исторического и культурного развития пронизывает общество и культуру после-античной и в этом смысле после-Римской эпохи, собственно Европы. Возникающее отсюда коренное свойство внутренней макроформы европейской культуры воспроизводит соответствующее свойство внутренней макроформы рим-

¹⁷⁵ См. выше сноску на классическую монографию Пфлаума: *Pflaum H.-G. Les carrières procuratoriennes équestres sous le Haut-Empire Romain. Thèse complémentaire.* Т. I. Paris, 1960.

¹⁷⁶ См. выше примеч. 31 со ссылкой на Саллюстия. Югурта 41.

¹⁷⁷ См.: *Плиний Младший.* Письма I, 19; Панегирик 70, 9.

¹⁷⁸ *Плутарх.* Нума 17, ср.: Dig. 50, 6, 12, 7.

ской культуры. Но воспроизводит в других исторических условиях, на другом материале, т. е. не на основе совпадения или повторения, а на основе *изоморфности*. Сказанное может быть проиллюстрировано концепцией европейского развития, представленной полутора веками ранее, но сохраняющей все свое значение и получающей все новые подтверждения вплоть до середины XX столетия – в книге Огюстена Тьерри «История происхождения и успехов Третьего сословия»¹⁷⁹. Эти новые подтверждения сочетаются с прежними предвосхищениями, делая построение Тьерри конститутивной характеристикой европейского типа культурно-исторического бытия. Бытия, добавим, уникального.

История Третьего сословия «в сущности не что иное, как история развития и прогресса нашего гражданского общества, начиная с того хаоса в правах, законах и состояниях, который образовался вслед за падением Римской империи, и кончая нашими днями»¹⁸⁰. Эволюция третьего сословия играет, таким образом, в осмыслении и истолковании истории Европы роль того преемственного канона, сквозь который римляне и мы вслед за ними рассматривали их историю. Тот тип развития, с которым мы имели дело в Риме, представлен здесь в ином социально-историческом содержании, но в той же внутренней логике. «В одном и том же политическом сцеплении – две народности <...>. Галло-римское общество, подчиненное одинаковому закону, отличается большим разнообразием и неравенством состояний; общество варварское заключает в себе, при свойственном ему подразделении разрядов и слоев, различные законы и народности»¹⁸¹. Коренное, римски-гражданское население, сосредоточенное в городах, продолжало придерживаться римского права. Население германского корня тяготело к сельской жизни. Это соотношение, определившее всю историю Западной Европы, с ее противостоянием аграрной аристократии и промышленной городской «буржуазии», было вполне изоморфно ориентировано во многом как на модель на отношения

¹⁷⁹ Тьерри Огюстен. История происхождения и успехов третьего сословия / Перев. с франц. под редакцией и со вступительной статьей Р.Ю. Випера. М., 1899.

¹⁸⁰ Там же. С. 41.

¹⁸¹ Там же. С. 44.

между правовой структурой римских граждан, селившихся в завоеванных провинциях, и исконно местными жителями, т. е. теми же германцами. «Эти различные классы, отделенные друг от друга положением неодинакового достоинства и разницей законов, нравов и языка, были распределены очень неравномерно между городами и селами. Все люди, чем-либо выдававшиеся среди галло-римского населения, все входившие в него знатные, богатые, промышленные семьи, жили в городах, окруженные домашними рабами; вне городов из галло-римлян жили лишь полукрепостные колонны и земледельческие рабы. Наоборот, высшие классы германских племен были привязаны к деревням, где каждая свободная землевладельческая семья жила на своем участке»¹⁸².

Наконец, особая роль римской культурной традиции как связующей, поверх противоположности, галло-римлян и германцев в противоречиво единое европейское – или протоевропейское целое – с самого раннего средневековья принадлежала католической церкви. «Социальное преобладание завоевателей закрепилось за теми местами, где они жили, и перешло от города к деревне. Постепенно даже деревня захватила у города верхние слои его населения, которые, с целью подняться выше и смешаться с завоевателями, старались, по возможности, подражать им в образе жизни. Этот высший класс туземного населения (в том числе нередко родоначальники позднейшей французской и итальянской земельной аристократии. – *Г.К.*) за исключение тех лиц в его среде, которые занимали церковные должности, в известном смысле погиб для цивилизации. В его среду все более проникали варварские нравы, праздность, буйство, склонность к насилию, отвращение к каким-либо правилам и сдержкам. В галльских городах не было больше места развитию богатства и искусства; оставалось лишь собирать и хранить обломки. Забота о сохранении их, заключающая в себе залог цивилизации будущего, сделалась с этого времени главной задачей духовенства и вместе среднего и низшего классов городского населения»¹⁸³.

Оговоренная здесь связь духовенства и все того же «третьего сословия» имеет для обсуждаемой макроформы европейской культуры

¹⁸² Там же. С. 45–46.

¹⁸³ Там же. С. 46.

глубокое и принципиальное значение. Преемственность средневекового европейского духовенства по отношению к антично-римской традиции выражалась не только в латинском языке богослужения и Писания; не только в восприятии Рима как метафизического центра христианства, залога его единства. Она выражалась также в понимании задачи монастырей в труде во имя Господне, в частности, – и в хранении и переписывании античных рукописей. За всеми тремя, но в первую очередь за последним, стоит ощущение, согласно которому за текучим многообразием жизни есть незыблемая основа, и ею является неотделимый от промысла Господня некий исток – метафизическое единство Писания, права и культуры, совокупно и сокровенно восходящих к Риму.

Развитие Европы Нового времени протекает в формах и субстанциях, глубоко отличных от отразившегося здесь облика общества, культуры и производства, но по-прежнему встроенных во все ту же макроформу. Во второй половине XVIII и первой половине XIX веков в общественно-политической практике европейских стран стало складываться, а в теоретической мысли от Вико до Гегеля получать историософскую санкцию гражданское общество. Когда до исхода XIX столетия оно стало оформляться как парламентская демократия, в историософскую и метафизическую основу ее вошли все те же нераздельные и все туда же восходящие компоненты. – Общество живет по своим внутренним законам. Их единство и преемственность предполагает и сохраняет нераздельность и неслиянность друг другу противостоящих начал. Города против деревни и замка, экспансии при сохранении европеизма, аномии и дисперсии, «всех против всех» при микролокальной микрогрупповой солидарности, сохранение Европы как целого равного себе при радикальном, «корневом» ее отталкивании от иных и предшествующих исторических форм.

Упоминание о Джамбаттисто Вико и о Гегеле и о созданной ими теоретической основе гражданского общества предполагает такое же упоминание о других гигантах европейской культуры, включенных в тот же процесс европейского двуедино-целостного и преемственно-обновляющегося самосознания. Откройте статью Томаса Манна «Любек как духовная форма жизни» и перечитайте строки Гёте, ей предпосланные, перелистайте еще несколько страниц, чтобы убедиться, как глубоко и далеко то же видение развито автором статьи.

Повторим. Основа Европы – консервативная норма в ее двуединстве, составляющая психологическую и культурную основу жизни государства именно потому и в той мере, в какой она – самоотрицательно и самоохранно – открыта поступательному развитию жизни общества и его потребностей. Именно этот, скрытый, ушедший в глубину и чаще всего неосознанный метафизический потенциал античного Рима, по всему судя, и сохраняется в культуре и истории Европы вплоть до нашей эпохи. Вопреки столь многообразно представленному в ее современной, открытой миру шумотекущей жизни и вопреки исчерпанию ее антично-римского слагаемого, столь подробно документированному выше.

Summary

G.S. Knabe

Modern Europe and its Ancient Roman Legacy

This book is an essay in cultural history. It describes the civilisation of Western Europe from the disintegration of the Roman Empire to the present.

The author demonstrates that for one and a half millennia this civilisation has been characterised by the basic constants inherited and adapted from Ancient Rome, and that these constants have become Europe's own.

According to the author, the following constants, among others, can be distinguished:

- a) conservatism, meaning continuity from one stage of the civilisation to another, together with innovations;
- b) expansion of the European type of civilisation: local cultures absorb it, and in turn are absorbed by it;
- c) individualism, which is conditioned by the interests of groups.

Thus the constant of constants, which in fact is (or more precisely was) the essence, the inner macro-form of European culture, is/was its ability to combine loyalty to its own principles with development and change. The author shows that it was in this macro-form of its culture that Europe was perceived by its own philosophical self-consciousness, from Aristotle to Hegel and Husserl.

During the post World War II period of the 20th century, and especially at the beginning of the 21st century, the character of the civilisation of Europe was changed by globalization, mass immigration and the revision of national traditions, as well as by a peculiar feeling of shame for the greatness and uniqueness of European culture with its Ancient Roman roots.

The author concludes his analysis with a suggestion that the past should not be judged in terms of "good" and "bad", but rather considered as a stage in the movement of history. It is quite another matter that behind and beyond this stage there has remained the Europe which we have experienced and which is, in a sense, "ours".

CONTENTS

<i>Part one</i>	
The Roman Europe	5
The Roman landscapes of European culture.....	7
The imagination of a sign and the image of an epoch	13
The image of Ancient Rome and its constituent parts in Roman culture and history	23
Conservatism	23
Expansion	26
Micro-groups	29
Similitudo temporum and the Roman Europe.....	41
Middle Ages. The state and Christianity	41
The age of classicism. Politics and art	45
Politics.....	47
Art	55
The 19th and 20th centuries. A spectre is haunting Europe	63
Conclusion: the Roman constants in the cultural development of Europe.....	89
Canon	89
Expansion	94
Individualism.....	97

Part two

The threshold of the 20th and 21st centuries.

Exhausting the Ancient Roman component in the culture of Europe.....	101
The air of the time.....	101
Canon	107
Science and scholarship. Literature. Cinema.....	112

Part three

Historic conclusions and the reality of life	130
The inner macro-forms of culture	130
Cultural borrowings and historic memory	143
From a letter by a woman friend, residing in Moscow	156
Cultural-historic unity as an isomorphism.....	160

Научное издание

Г.С. Кнабе

Современная Европа и ее
антично-римское наследие

Редактор серии Е.П. Шумилова
Компьютерная верстка О.Б. Малахова

Оригинал-макет подготовлен
в Институте высших гуманитарных исследований РГГУ
им. Е.М. Мелетинского

Подписано в печать 19.04.2010.
Формат 60x84 1/16. Усл. печ. л. 10,9.
Уч.-изд. л. 10,9.
Тираж 500 экз.
Заказ №

Издательский центр РГГУ
125993, Москва, Миусская пл., 6.
Тел. (499)973-4200